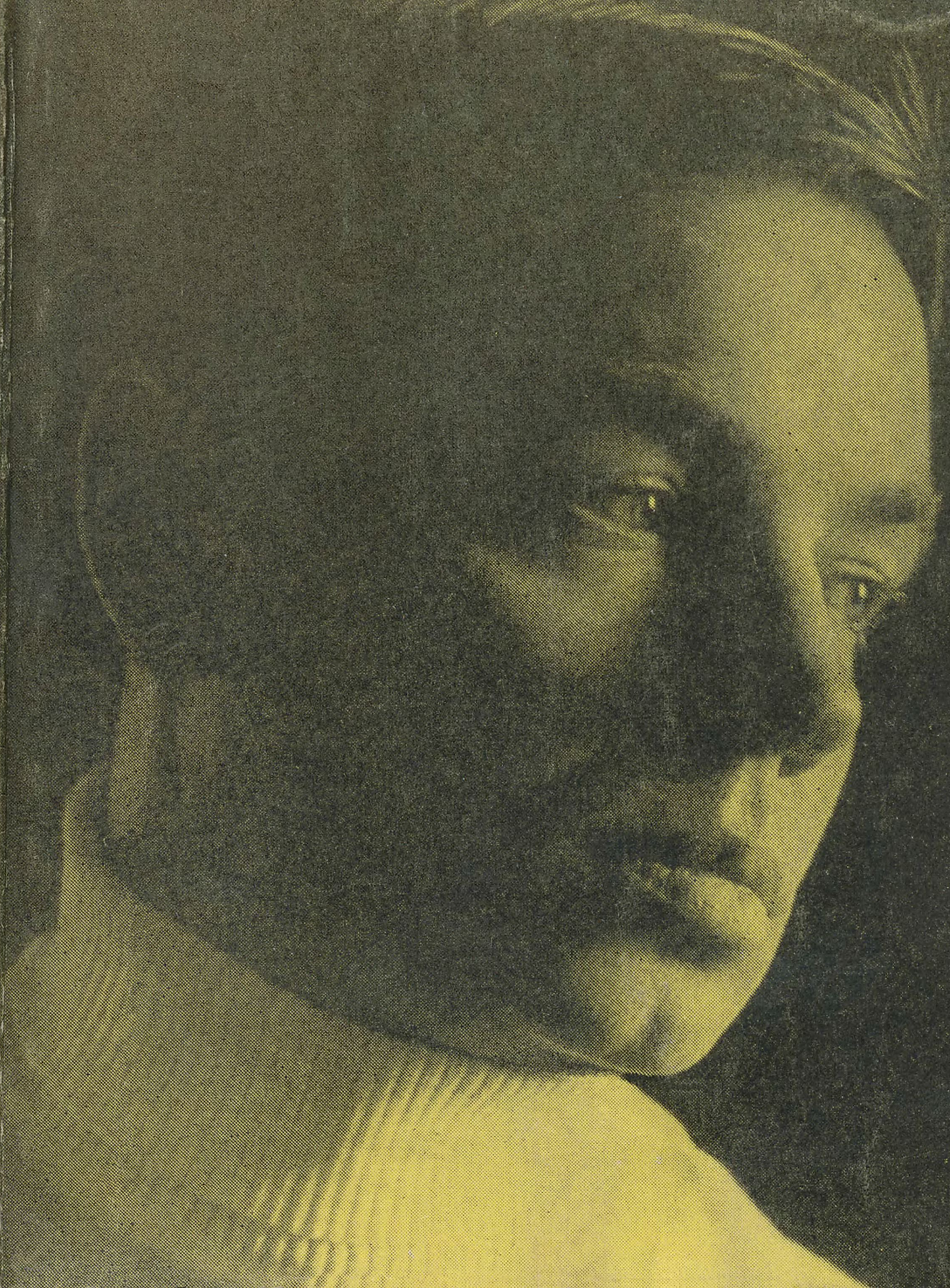


АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ



АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Т Е Н Ь З В У К А



СТРЕЛА В СТЕНЕ



СНЕЖНОЕ
СОЖАЛЕНИЕ



ДОКТОР ОСЕНЬ



ПОРТРЕТ ПЛИСЕЦКОЙ



ИЗОПЫ



ЭХО



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»
Москва
1970

Р 2
В 64

Художник Вл. Медведев

Немного об авторе

Он вошел в сени, как всегда, в короткой курточке и меховой шапке, осыпанной снежинками, которая придавала его несколько удлинённому юному русскому лицу со странно внимательными, настороженными глазами вид еще более русский — может быть, даже древнеславянский. Отдаленно он напоминал рынду, но без секиры.

Пока он снимал меховые перчатки, из-за его спины показалась Оза, тоже осыпанная снегом.

Я хотел закрыть за ней дверь, откуда тянуло по ногам холодом, но Вознесенский протянул ко мне беззащитно обнаженные узкие ладони.

— Не закрывайте, — умоляюще прошептал он, — там есть еще... Извините, я вас не предупредил. Но там — еще...

И в дверную щель, расширив ее до размеров необходимости, скользя по старой клеенке и по войлоку, вплотную один за другим стали проникать тепло одетые подмосковные гости — мужчины и женщины, — в одну минуту переполнив крошечную прихожую и затем застенчиво распространившись дальше по всей квартире.

— Я думал, что их будет три-четыре, — шепотом извинился Вознесенский, — а их, оказывается, пять-шесть.

— Или даже семнадцать-восемнадцать,— уточнил я.

— Я не виноват. Они сами.

Понятно. Они разнюхали, что он идет ко мне читать новые стихи, и примкнули. Таким образом, он появился вместе со всей своей случайной аудиторией. Это чем-то напоминало едущую по городу в жаркий день бочку с квасом, за которой бодрым шагом поспевает очередь жаждущих с бидонами в руках.

Гора шуб навалена под лестницей.

И вот он стоит в углу возле двери, прямой, неподвижный, на первый взгляд совсем юный,— сама скромность,— но сквозь эту мнимую скромность настойчиво просвечивает пугающая дерзость.

Выросший мальчик с пальчик, пробирочка со светящимся реактивом адской крепости. Артюр Рембо, написанный Рублевым.

Он читает новую поэму, потом старые стихи, потом вообще все, что помнит, потом все то, что полузабыл. Иногда его хорошо слышно, иногда звук уходит и остается одно лишь изображение, и тогда нужно читать самому по его шевелящимся побелевшим губам.

Его аудитория не шелохнется. Все замерли, устремив глаза на поэта, и читают по его губам пропавшие в эфире строки. Здесь писатели, поэты, студенты, драматурги, актриса, несколько журналистов, знакомые знакомых и незнакомые незнакомых, неизвестные молодые люди — юноши и девушки в темно-серых пуловерах, два физика, шлифовальщик с автозавода и даже один критик-антагонист, имеющий репутацию рубахи-парня и правдивого малого, то есть брехун, какого свет не производил.

Который раз я слушаю Вознесенского и всегда испытываю чувство, которое так хорошо выразил Пушкин в стихах к Языкову:

...Кто тебе внушил
Твое посланье удалое?
Как ты шалишь и как ты мил,
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!

Эти стихи Пушкина всегда приводят на память другие, его же:

О чем, прозаик, ты хлопчешь?
Давай мне мысль какую хочешь:
Ее с конца я заострю,
Летучей рифмой оперю,
Вложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую.
И горе нашему врагу!

По аналогии с Пушкиным, который предложил Языкову назвать книгу его стихотворений «Хмель», можно посоветовать Вознесенскому название «Стрелы».

Настоящая поэзия начинается тогда, когда поэт перестает ощущать сдерживающие его условности формы, метрики, традиции вкусов, то есть когда, сбросив с себя все навязанное ему извне, чужое, заштампованное, он вдруг в один счастливый миг делается самим собой: вот он — совершенно новый, неповторимый, дерзкий, и вот перед ним его свободно выбранная тема, его свободная мысль — и между ними нет никаких преград, их ничто не разделяет, не тормозит их взаимовлияния и не препятствует полному, самобытному воплощению идеи в слове.

Я вижу основное качество Вознесенского — раскованность, самое ценное, что может быть в поэте.

Вознесенский прошел замечательную школу современной русской, советской поэзии — смею сказать, лучшей в мире — и воспринял ее не только как талантливый ученик, но и как прямой ее продолжатель.

У Вознесенского оказалась изумительная способность, начав свой творческий путь учеником великой плеяды современных русских поэтов, полностью сохранить свою самобытность, свое неповторимо творческое лицо и стать в ряд со своими учителями.

Русский язык — его стихия; и, свободно плавая в его необозримом океане, он сделался поэтом для других языков, в то же время оставаясь прежде всего русским, ярко национальным.

Это не для красного словца. Он выступал перед аудиториями Москвы, Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Варшавы, Флоренции. Его стихи переведены и изданы в Англии, США, Польше, ГДР, Чехословакии, Италии, ФРГ, Японии, Югославии и многих других странах. Темы его стихов интернациональны. Их география весьма внушительна: от Красной площади и Рублевского шоссе в Москве до Калифорнийского парка, где растет легендарная «секвойя Ленина». Диапазон поэтического материала огромен: «Живет у нас сосед Букашкин», «Ночной аэропорт в Нью-Йорке», «Флорентийские факелы», «Прощание с Политехническим», «Баллада об Эрнсте Неизвестном» и «Я в Шушенском», «Лонжюмо». Так же разнообразны жанры: любовная лирика, острополитическая сатира, элегия, пейзаж, жанровая баллада. И все это пронизано большой общественно-социальной идеей, глубокой революционной мыслью.

«Мастера» его были опубликованы 10 лет назад, в 1959 году.

Вознесенский поэт-мыслитель. Но в не меньшей, если не в большей, степени он живописец и архитектор. «Окончил Московский архи-

тектурный институт, много занимался живописью», — пишет он в своей автобиографической заметке. Отсюда его остроживописное восприятие мира, его снайперский глаз архитектора, привыкшего свободно распоряжаться пространством, располагая в нем строительный материал по принципу высшей целесообразности, а следовательно, и красоты.

Я думаю, что никто другой в русской поэзии с такой ясностью всем своим творчеством не подтвердил предположения о том, что

Поэзия не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра...—

хотя Вознесенский далеко не простой столяр.

Его строительный материал — метафоры, смонтированные на конструкциях свободного ритма, не связанного никакими правилами канонического стихосложения и подчиненного одной-единственной повелительнице: мысли.

Поразительны метафоры поэта! Он никогда не унижается до упрощенных сравнений, не требующих от читателя творческого усилия. Читать Вознесенского — искусство. Но, по всем признакам, этим искусством вполне овладели массовые читатели. Его книг никогда не бывает на прилавках. Распроданы.

Вот он читает, и белый лес прильнул к черным ночным окнам, изредка роняя бесшумные пласты инея. Ледяной колокольчик вздрагивает в голубом нарзане.

Юрий Олеша говорил, что хочет написать книгу под названием «Депо метафор». Книги Вознесенского всегда депо метафор.

Вместо каменных истуканов
Стынет стакан синевы —
без стакана.

Этот стакан синевы без стакана вызывает целую картину современного аэропорта, написанную буквально несколькими словами; причем здесь художник-архитектор-поэт не только изобразитель, но также и полемист, весьма ядовито противопоставляющий старый архитектурный стиль новому архитектурному стилю организованной синевы стакана и дюраля.

Метафора Вознесенского не украшение. Она всегда несет громадную идейную нагрузку.

Однажды, став зрелей, из спешной повседневности
мы входим в Мавзолей, как
в кабинет рентгеновский,
вне сплетен и легенд, без шапки, без прикрас,
и Ленин, как рентген, просвечивает нас.

Могучая мысль заложена в этой метафоре, которая, подобно спектру солнечного света, содержит, кроме видимых цветов, еще невидимые — как бы незримо проникающие в обнаженную душу современника, входящего в Мавзолей Ленина.

Что еще надо сказать о Вознесенском? Он в возрасте зрелости и расцвета. Это большой русский поэт в пору приближения к зениту.

Вот он кончил читать и неподвижно стоит в углу, там, где у нас обычно стоит елка, как бы ошеломленный самим собой, тем, что он создал и подарил людям.

Аудитория рассеивается как дым. В опустевшей комнате холодок сквозняка, запах хвои, две или три снежинки, залетевшие сюда из лесу.

Он продолжает стоять неподвижно, напоминая чем-то новогоднюю елку — стройную, смолисто-сухую, такую русскую, всю разубранную инфракрасными шарами и ультрафиолетовыми свечками, недоступными для зрения и все же существующими.

Валентин КАТАЕВ

C



трела в стене



* * *

Слоняюсь под Новосибирском,
где на дорожке к пустырю
прижата камушком записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

Сентиментальность озорницы,
над вами прыснувшей в углу?
Иль просто надо объясниться?
«Прохожий, я тебя люблю!»

Записка, я тебя люблю!
Опушка — я тебя люблю!
Зверюга — я тебя люблю!
Разлука — я тебя люблю!

Детсад — как семь шаров воздушных,
на шейках-ниточках держась.
Куда вас унесет и сдует?
Не знаю, но страшусь за вас.

Как сердце жмет, когда над осенью,
хоть никогда не быть мне с ней,
уносит лодкой восьмивесельной
в затылок ниточку гусей!

Прощающим благодареньем
пройдет деревня на плаву.
Что мне плакучая деревня?
Деревня, я тебя люблю!

И как ремень с латунной пряжкой
на бражном, как античный бог,
на нежном мерине дремавшем
присох осиновый листок.

Коняга, я тебя люблю!
Мне конюх молвит мирозданьем:
«Поэт? Люблю. Пойдем — раздавим...»
Он сам, как осень, во хмелю.

Над пнем склонилась паутина,
в хрустальном зеркале храня
тончайшим срезом волосиным
все годовые кольца пня.

Будь с встречным чудом осторожней...
Я встречным «здравствуй» говорю.
Несешь мне гибель, почтальонша?
Прохожая, тебя люблю!

Прохожая моя планета!
За сумасшедшие пути,
проколотые, как билеты,
поэты с дырочкой в груди.

И как цена боев и риска,
Чек, ярлычок на клею,
к Земле приклеена записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

Строки Роберту Лоуэллу

Мир
праху твоему,
 прозревший президент!
Я многое пойму,
до ночи просидев.

Кепчоночку сниму
с усталого виска.
Мир, говорю, всему,
чем жизнь ни высока...

Мир храпу твоему,
 Великий Океан.
Мир — пахарю в Клину.
Мир,
сан-Францисский храм,
чьи этажи, как вздох,
 озонны и стройны,
вдохнут по мне разок,
 как легкие страны.

Мир
паху твоему,
ночной Нью-Йоркский парк,
дремучий, как инстинкт,
убийствами пропах,

природно возлежишь
меж каменных ножищ.
Что ты понатворишь?

Мир
пиру твоему,
земная благодать,
мир праву твоему
меня четвертовать.

Мир Солнцу самому,
что гонит мглу, преобразает карты,
мир сердцу моему
и миллионам солнечных инфарктов.

История, ты стон
 пророков, распинаемых
 крестами;
они сойдут с крестов,
 взовьют еретиков кострами.

Безумствует распад.
Но — все-таки — виват! —
профессия рождать
древней, чем убивать.

Визжат малыцы рожденные
у повитух в руках,
как трубки телефонные
в притихшие века.

*Мир тебе,
Гуго,
миллеровский пес,
миляга.*

*Ты не такса, ты туфля,
мокасин с отставшей подошвой,
который просит каши.
Некто Неизвестный напялил тебя
на левую ногу
и шлепает по паркету.*

*Иногда Он садится в кресло нога на ногу,
и тогда ты становишься под носом вверх,
и всем кажется, что просишь чего-нибудь
со стола.*

*Ах, Гуго, Гуго... Я тоже чей-то башмак.
Я ощущаю Нечто, надевшее меня...*

*Мир неизвестному,
которого нет,
но есть...*

*Мир, парусник благой,—
Америку открыл.
Я русский мой глагол
Америке открыл.*

*В ристалищных лесах
проголосил впервые,
срываясь на верхах,
трагическую музыку России.*

*Не горло — сердце рву.
Америка, ты — ритм.
Мир брату моему,
что путь мой повторяет.*

*Поэт собой, как в колокол,
колотит в свод обид.
Хоть больно, но звенит...*

Мой милый Роберт Лоуэлл,
мир Вашему письму,
печальному навзрыд.
Я сутки прореву,
и все осточертит,

к чему играть в кулак?
(пустой или с начинкой?)
Узнать, каков дурак,—
простой или начитанный?

Глядишь в сейчас — оно
давнее, чем давно,
величественно, но
дерьмее, чем дерьмо.

Мир мраку твоему.
На то ты и поэт,
что, получая тьму,
ты излучаешь свет.

Ты хочешь мира всем.
Тебе ж не настает.

Куда в такую тень,
мой бедный самолет?

Спи, милая,
дыши
все дальше и ровней.
Да будет мир души
измученной твоей!

Все меньше городок,
горящий на реке,
как милый ремешок
с часами на руке,
значит,
опять ты их забыла снять.

Они светятся и тикают.
Я отстегну их тихо-тихо,
чтоб не спугнуть дыхания,
заведу
и положу налево, на ощупь,
где должна быть тумбочка...

Сан-Франциско — Коломенское...

Сан-Франциско — это Коломенское.
Это свет посреди холма.
Высота, как глоток колодезный,
холодна.

Я люблю тебя, Сан-Франциско;
испаряются надо мной
перепончатые фронтисписы,
переполненные высотой.

Вечерами кубы парившие
наполняются голубым,
как просвечивающие курильщики
тянут красный, тревожный дым.

Это вырезанное из неба
и приколотое к мостам
угрызение за измену
моим юношеским мечтам.

Моя юность архитектурная,
прикурю об огни твои,
сжавши губы на высшем уровне,
побледневшие от любви.

Как обувка возле отеля
лимузины столпились в ряд,
будто ангелы улетели,
лишь галоши от них стоят.

Мы — не ангелы. Черт акцизный
шлепнул визу — и хоть бы хны...
Ты вздохни по мне, Сан-Франциско.
Ты, Коломенское,
вздохни...

Пляж, пляж,
где работают лежа,
а филонят стоя,
где маскируются, раздеваясь,
где за 10 коп. ты можешь увидеть будущее —
«От горизонта одного — к горизонту многих...»
«Извиняюсь, вы не видели мою ногу?»
Размер 37... Обменяли...»

«Как же, вот сейчас видала —
в облачках она витала.
Пара крылышков на ей,
как подвязочки!
Только уточняю: номер 38¹/₂...»

Горизонты растворялись
между небом и водой,
облаками, островами,
между камнем и рукой.

На матрасе — пять подружек,
лицами одна к одной,
как пять пальцев в босоножке
перетянуты тесьмой.

Пляж и полдень — продолженье
той божественной ступни.
Пошевеливает Время.
Пошевелиятся они.

Я люблю уйти в сиянье,
где границы никакой.
Море — полусостоянье
между небом и землей,

между водами и сушей,
между многими и мной;
между вымыслом и сущим,
между телом и душой.

Как в насыщенном растворе,
что-то вот произойдет:
суша, растворяясь в море,
переходит в небосвод.

И уже из небосвода
что-то возвращалось к нам
вроде бога и природы
и хождения по водам.

Понятно, бог был невидим.
Только треугольная чайка
 замерла в центре неба,
белая и тяжело дышащая,—
 как белые плавки бога...

Морская песенка

(Шутливая надпись на книжке Киплинга)

Я в географии слабак,
но, как на заповедь,
ориентируюсь на знак —
Востоко-запад.

Ведь тот же огненный желток,
что скрылся за борт,
он одному сейчас — Восток,
другому — Запад.

Одним — заходит,
другим — восходит.

Ты целовался до утра.
А кто-то запил.
Тебе — пришла, ему — ушла.
Востоко-запад.

К тебе заходит —
его захочет.

Опять Букашкину везет.
Ползет потея.

Не понимает, что тот взлет —
его паденье.
Тому угоден,
кого уходят.

А ты, художник, сам себе
Востоко-запад?

Крути орбиты в серебре,
чтоб мир не зябнул.

Пускай судачат про твои
паденья, взлеты —
нерукотворное твори.
Жми обороты.

Страшись, художник, подлипал
и страхов ложных.

Работай. Ты их всех хлебал
большою ложкой.

Солнце за морскую линию
удаляется, дурачась,
своей нижней половиною
вылезая в Гондурасах.

Испытание болотохода

По болоту,
 сглотавшему бак питательный,
по болотам,
 болотам,
 темней мазута,—
испытатели! —
по болотам Тюменским,
 потом Мазурским...

Благогласно имя болотохода!
Он, как винт мясорубки,
 ревет паряще.

Он — в порядочке!
Если хочешь полета —
 учти болота.

...по болотам —
 чарующим и утиным,

по болотам,
засасывающим к матери,
по болотам,
предательским и
испытатели!.. рутинным,—

Ах, водитель Черных,
огненнородый:
«Небеса — старо.
Полетай болотом!»

...Испытатели! —
если опыт кончится
катастрофой,
под болотом,
разгладившимся податливо,
два баллона и кости спрессует торфом...

*Жизнь осталась, где суша и коноплянки,
и деревня на взгорьях —
как киноплёнки,
и по осени красной, глядя каляше,*

спекулянтку
опер везет в коляске.

Не колышется
монументальная краля,
подпирая белые слоники бус.
В черный бархат
обтянут
клокочущий
бюст,
как пианино,
на котором давно
не играли.

По болотам,
подлогам,
по блатам,
по татам —
испытатели! —
по бодягам,
подплывшим под подбородок, —
испытатели —
испытатели —
испытатели —

испытатели —
испытатели —
испытатели —
пробуксовывая на оборотах.

*А на озере Бисеровом — охоты!
Как-то самоубийственно жить охота.
И березы багрово висят кистями,
будто раки
трагическими клешнями.*

Говорит Черных:
«Здесь нельзя колесами,
где вода, как душа,
обросла волосьями.
Грязь лупить —
обмазаться показательно.
Попытаемся по касательной!»

Сквозь тошнотно кошачий концерт лягушек,
испытатели! —
по разлукам,
закатным
и позолотным,

по порогам, загадочным и кликушным,
по невинным и нужным в какой-то стадии,
по бессмертным,
но все-таки по болотам!

По болоту, облупленному, озорному, — спящите!..
По болотам, завистливым и залившимся,
по трясинам,
резинам,
годам —
не вылезти —
испытатели!

По болотам — полотнищам сдавшихся армий,
замороженной клюквой стуча картинно,
с испытаний,
поборовши,
Черных добредет в квартиру.

И к роялю сядет, разя соляркой,
и педаль утопит, как акселератор,
и взревет Шопен болевой балладой
по болотам —
пленительным и проклятым!

* * *

Суздальская богоматерь,
сияющая на белой стене,
как кинокассирша
в полукруглом овале окошечка!
Дай мне
билет,
куда не допускают
после шестнадцати...
Так не просто понимать все.

* * *

Графоманы Москвы,
меня судите строго,
но крадете мои
несуразные строки.

Вы, конечно, чисты
от оплошностей ложных.
Ваши ядра пусты,
точно кольца у ножниц.

Засвищу с высоты
из Владимирской пустоши —
бесполезные рты
разевайте и слушайте.

Диалог Джерри, сан-францисского поэта

— Итак, Джерри,
в прошедшем поэт, в настоящем просящий суда,
свидетель себя и мира в 60-е года?

— Да!

— Клянетесь ответствовать правду в ответ?

— Да.

— Душа — на весах,
ее чашечка, ах, высока,
ее перевесили гири греха и стыда?

— Да —

вы видите — классик могильный;
как гирию, чугунный несет постамент,
висит над весами, как гирия,
пустынных окон чернота,
родители воют, как гидры:
детей их сманили куда?

Вы их опровергнете или...

— Нет.

— Живя на огромной, счастливейшей из планет,
песчинке из моего решета...

— Да.

— ...вы производили свой эксперимент?

— Да.

— Любили вы петь и считали, что музыка — ваша звезда?

— Да.

— Имели вы слух или голос и знали хотя бы предмет?

— Нет.

— Вы знали ли женщину с узкою трубочкой рта?

И дом с фонарем отражался в пруду, как бубновый валет?

— Нет.

— Все виски просила без соды и льда?

— Нет, нет, нет!

— Вы жизнь ей вручили. Где женщина та?

— Нет.

— Вы все испытали — монаршая милость, политика,

деньги, нужда,

все, только бы песни увидели свет,

дешевую славу с такою доплатою вслед!

— Да.

— И все ж, мой отличник, познания ваши на «2»?

— Да.

— Хотели пустыни — а шли в города,
смирили ль гордыню, став модой газет?

— Нет.

— Вы были ль у цели, когда стадионы ревели вам: «Дай!»?

— Нет.

— Иль, может, когда отвернулись, поверив в наветы
клевет?

— Почти да.

— В стихках все — вопросы, в них только и есть что
вреда,

производительность труда
падает, читая сей бред?

— Да.

— И все же вы верите в некий просвет?

— Да.

— Ну, мальчики, может,
ну, девочки, может,
но сникнут под ношею лет,
друзья же подались в искусство «дада»?

— Кто да.

— Все — белиберда,
в вас нет смысла, поэт!

— Да, если нет.

— Вы дали ли счастье той женщине, для
которой трудились, чей образ воспет?

— Да,
то есть нет.

— Глухарь стихотворный, напяливший джинсы,
поешь, наступая на горло собственной жизни?
Вернешься домой — дома стонет беда?

— Да.

— Вам нравилось Небо
Двадцатого Века?

— Да!

— Кричат журавли в снегопадах,
и так же беззвучно кричат
зажатые лица в скафандрах,
как в гаечных ключах?

Вы знали — летящих зачем и куда?

— Нет.

В любви и искусстве метались туда и сюда —
и только в вьетнамском вопросе вам, видите ль, ясен ответ?

— Да.

— Святая война для вас — ложь, срамота?

Убитые дети дороже абстрактных побед?

— Да.

— Вас смерть не страшит, ни клеймо «иностранный агент»?

— Нет.

— Вы бьете по банку, но банк — пустота?

Иль, может, понизятся цены на «Кент»?

— Да нет...

— Хотел ли свободы парижский Конвент?

Преступностью ль стала его правота?

— Да.

— На вашей земле холода, холода,
такие пространства, хоть крикни — все сходит на нет?..

— Да.

— Вы лбом прошибали из тьмы ворота,
а за воротами — опять темнота?

— Да.

— Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, случится
беда.

Вам жаль ваше тело, ну ладно.

Но маму, но тайну оставшихся лет?

— Да.

— Да?

— Нет.

— ?..

— ?..

— Нет.

— Итак, продолжаете эксперимент? Айда!

— Обрыдла мне исповедь,

Вы — сумасшедший, лжеидол, балда, паразит!

Идете витийствовать? зло поразить? иль простить?

Так в чем же есть истина? В «да» или в «нет»?

— С п р о с и т ь.

В ответы не втиснуты
судьбы и слезы.

В вопросе и истина.

Поэты — вопросы.

Уже подснежники

К полудню
или же поздней еще,
ни в коем случае
не ранее,
набрякнут под землей подснежники.
Их выбирают
с замираньем.

Их собирают
непоспевшими
в нагорной рощице дубовой,
на пальцы дуя
покрасневшие,
на солнцепеке,
где сильней еще
снег пахнет
молодой любовью.

Вытягивайте
потихонечку

Такая тяга потаенная
в вас,
новорожденные змейки,
с порочно-детскою,
лимонною
усмешкой!

Потом вы их на шапку
сложите,—
кемарьте,
замерзнувшие, как ложечки,
серебряные
и с эмалью.

Когда же через час
вы вспомните:
а где же?
В лицо вам ткнутся
пуще прежнего
распущенные
и помешанные —
уже подснежники!

**Ироническая элегия, родившаяся в весьма
скорбные минуты, когда НЕ ПИШЕТСЯ**

Я — в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», — друг мой точит.
А у меня —
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшною зевотой.

И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысаясь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный, мой неподкупный
друг,
хорош костюм, да не по росту.

Внутри все ясно и вокруг —
но не поется.

Мой деградирующий вкус
в душевнокризисном крушении —
качусь
все кризисней и все душевней.

Я деградирую в любви.
Дружу с гитаркою трактирную.
Не деградируете вы —
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.
Я разучился рифмовать.
Не получается.

Чужая птица издали
простонет перелетным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чем, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот нё подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов
в стране выходит ежесуточно.
А я друзей и городов
бегу как бешеная сука,

в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,
где деградирует весна
на тайном переломе к лету...

Вальс при свечах

Любите при свечах.
Танцуйте до гудка.
Живите — при сейчас.
Любите — при когда?

Ребята — при часах.
Девчата — при серьгах.
Живите — при сейчас.
Любите — при Всегда.

Прически — на плечах.
Щека у свитерка.
Начните — при сейчас.
Очнитесь — при всегда.

Цари? Ищи-свищи!
Дворцы сминаемы.
А плечи всё свежи
и несменяемы.

Когда? При царстве чьем?
Не ерунда важна,
а важно, что пришел.
Что ты в глазах влажна.

Зеленые в ночах
такси без седока.
Залетные на час,
останьтесь навсегда...

Стрела в стене

Тамбовский волк тебе товарищ
и друг,
когда ты со стены срываешь
подаренный пенджабский лук!

Как в ГУМе отмеряют ситец,
с плеча откинется рука,
стрела задышит, не насытись,
как продолжение соска.

С какою женственностью лютой
в стене засажена стрела —
в чужие стены и уюты.
Как в этом женщина была!

Стрела — в стене каркасной стройки,
во всем, что в силе и в цене.
Вы думали — век электроники?
Стрела в стене!

Горите, судьбы и державы!
Стрела в стене.
Тебе от слез не удержаться
наедине, наедине.

Над украшательскими нишами,
темна вдвойне,
ультиматумативно нищая
стрела в стене!

Шахуй, оторва белокурая!
И я скажу:
«У, олимпийка!» И подумаю:
«Как сжались ямочки в тазу».

«Агрессорка,— добавлю,— скифка...»
Ты скажешь: «Фиг-то»...

Отдай, тетивка сыромятная,
найтишайшую из стрел
так тихо и невероятно,
как тайный ангел отлетел.

На людях мы едва знакомы,
но это тянется года.
И под моим высотным домом
проходит темная вода.

Глубинная струя влечения.
Печали светлая струя.
Высокая стена прощенья.
И боли четкая стрела.

Тоска

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказание?
Сложишь песню — отпустит,
а дальше — пуще.
Показали дорогу, да путь заказали.

Точно тайный горб на груди таскаю —
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твое дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши — опять одари виною...

Лодка на берегу

Над лодкой перевернутою, ночью,
над днищем алюминиевым туга,
гимнастка, изгибая позвоночник,
изображает ручку утюга!

В сияньи моря северно-янтарном
хохочет, в днище впаяна, дыша,
кусачка, полукровочка, кентаврка,
ах, полулодка и полудитя...

Полуморская-полугородская,
в ней полуполоумнейший расчет,
полутоскует — как полуласкает,
полуутопит — как полуспасет.

Сейчас она стремглав перевернется.
Полузвереныш, уплывет — вернется,
по пальцы утопая в бережок...

Ужо тебе, оживший утюжок!

Осеннее вступление

Развяжи мне язык, Муза огненных азбучищ.

Время рев испытать.

Развяжи мне язык,

как осенние вязы

развязываешь

в листопад,

как, принюхиваясь к ветру,

к мхам под мышками голых берез,

воют вепри.

Значит, осень всерьез.

Развяжи мне язык — как снимают ботинок,

чтоб ранимую землю осязать босиком,

как гигантское небо

эпохи Батыя

сковородку Земли,

обжигаясь,

берет языком.

Вкус рябины и русского словаря.

перевязаны.

Разреши меня словом. Развяжи мне язык.

вам виделся бзик?

Развяжи мне язык.

взрывающая кадры,

не латинское «Август», а древнее «З а р е в» *,
озари мне язык.

Зарев

*заваленных базаров, грузовиков,
зарев разруганных от плиты хозяек,
зарев,
когда чаши тяжелы и пузаты,
а воздух над полем вздрагивает, как ноздри,
в предвкушении перемен,
когда звери воют в сладкой тревоге,
зарев,
когда видно от Москвы до Хабаровска
и от костров картофельной ботвы до костров Батыя,*

*зарев,
когда в левом верхнем углу жемчужно-витиеватой березы
замерла белка,
алая, как заглавная буква
Ипатьевской летописи,*

*ах, Зарев,
дай мне откусить твоего запева!*

* З а р е в — по-древнеславянски Август.

Заревает история.

Зарев тура, по сердцу хватя.
И в слезах, обернувшись, над трупом Сахары,
львы ревут,
как шесты микрофонов,
воздев вертикально
с помпушкой хвосты —

Зарев!

Зарев сброшенных груш,
кабинетов министров,
перезрелых на зависть,
зарев голой страны,
как деревья без листьев,
зарев.

«Ну да, Зарев слушает. Я — товарищ Зарев, Петр
Захарьевич.

Да,

в ночь на первое августа. Еду со смены, дальний свет
переключил. И все — будто кто меня окликает.

«Зарев, Зарев!» — кричат, как эхо, разными
колокольчиками, или бубенчики звенят:

«За-а-рев, За-а-рев...»

Черный был телефон — белый стал телефон.

Замы вырастут в завов.

И кочующей кеты на юг,

под углом

ультразвуковый зарев.

Дружный зарев семьи,

отхватившей по займу

«Москвич»,

«Волгу» 6 зараз!

Ярославна в «высотке» все себя не сумеет постичь —

Зарев.

Зарев счастья встречаний,

праздник новых одежд,

женский зарев прощальный

с детством первых раздежд.

Мы лесам соплеменны,

в нас поют перемены.

Что-то в нас назревает.

Человек заревает.

Паутинки летят. Так линияет пространство.
Тянет за реку.
Чтобы голос обрести — надо крупно расстаться,
зарев,
зарев — значит «прощай!», зарев — значит
«да здравствует
завтра!».

Как горящая пакля, на сучках клочья волчьи и песьи.
Звери платят ясак за провидческий рык.
Шкурой платят за песню.
Развяжи мне язык.

Я одет поверх куртки
в квартиру с коридорами-рукавами,
где из почтового ящика,
как платок из кармана,
газета торчит,
сверху дом,
как боярская шуба
каменными мехами,—
развяжи мне язык.

Ах, мое ремесло — самобытное? нет, самопытное!
Оббиваясь о стены, во сне, наяву,
ты пытай меня, время, пока тебе слово не выдам.
Дай мне дыбу любую. Пока не взреву.

Зарев новых словес. Зарев зрелых предчувствий,
революций и рас.
Зарев первой печурки,
красным бликом смеясь...
Запах снега
Пречистый,
изменяющий вас.



Человечьи кричит на шоссе
белка, крашенная, как в Вятке,—
алюминиевая уже,
только алые морда и лапки.

C



нежное сожаление

Роща

Не трожь человека, деревце,
костра в нем не разводи.
И так в нем такое делается —
боже, не приведи!

Не бей человека, птица.
Еще не открыт отстрел.
Круги твои —
ниже,
тише.

Неведомое — острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
снимите силки с дороги,
чтоб душу не наколол.

Не браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.

Не надо, вольная рощица,
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая,
с начесами до бровей —
поистине
любовию не убей!

Отдай ему в воскресение
все ягоды и грибы,
пожалуй ему спасение,
спасением погуби.

**Морозный ипподром
в Зальцбурге**

Табуном рванулись трибуны к стартам.
В центре — лошади,
 вкопанные в наст.
Ты думаешь, Вася,
 мы на них ставим?
Они, кобылы, поставили на нас.

На меня поставила вороная иноходь.
Яблоки по крупу — е-мое...
Умеет крупно конюшню вынюхать.
Беру все финиши, а выигрыш — ее.

Королю кажется, что он правит.
Людам кажется, что им — они.
Природа и рощи на нас поставили.
А мы — гони!

Взирают лошади в городах:
как рощи в яблоках о четырех стволах...
Свистят Ханурику.
Но кто свистит?

Свисток считает, что он свистит.
Ажан считает, что он свистит.
Король считает, что он свистит.

Планета кружится в свистке горошиной,
но в чьей свистульке? Кто свищет? Глядь —
упал Ханурик. Хохочут лошади —
кобыла Дунька, Судьба, конь Блед.

Хохочут лошади.
Их стоны жутки:
«Давай, очкарик! Нажми! Бодрей!»
Их головы покачиваются,
как на парашютиках,
на паре, выброшенном из ноздрей.
Понятно, мгновенно замерзшем.

Все-таки 45°...
У ворот ипподрома лежал Ханурик.
Он лежал навзничь. Слева — еще пять.
Над его круглым ртом,
короткая, как вертикальный штопор,
открытый из перочинного ножа, стояла
замерзшая Душа.
Она была похожа на поставленную торчком

винтообразную сосульку.

Видно, испарялась по спирали,

да так и замерзла.

И как, бывает, в сосульку вмерзает листик или
веточка,

внутри ее вмерзло доказательство добрых дел,
взятое с собой. Это был обрывок заявления
на соседа за невыключенный радиоприемник.

Над соседними тоже стояли Души, как пустые
бутылки,

Между тел бродил Ангел.

Он был одет в сатиновый халат подметальщика.

Он собирал Души, как порожние бутылки.

Внимательно
проводил пальцем — нет ли зазубрин.

Бракованные скорбно откидывал через плечо.

Когда он отходил, на снегу оставались отпечатки
следов с подковками...

...А лошадь Ангел — в дыму морозном
ноги растворились,

как в азотной кислоте,
шейку шаловливо отогнула, как полозья,
сама, как саночки, скользит на животе!..

Бой петухов

Петухи!
Петухи!
Потуши!
Потуши!
Спор шпор,
ку-ка-рехнулись!
Урарь!
Ху-ха...
Кухарка
харакири
хрр
(у, икающие хари!)
«Ни фиги себе Икар!»
хр-рр!
Какое бешеное счастье,
хрипя воронкой горловой,
под улюлюканье промчатся
с оторванной головой!

Забыв, что мертв, презрев природу,
по пояс в дряни бытия,
по горло в музыке восхода —
забыться до бессмертия!

Через заборы, всех беся,—
на небеса!
Там, где гуляют грандиозно
коллеги в музыке лугов,
как красные

аккордеоны
с клавиатурами хвостов.

О лабухи Иерихона!
Империи и небосклоны.
Зареванные города.
Серебряные голоса.

(А кошка, злая, как оса,
не залетит на небеса.)
Но по ночам их к мщенью требует
с асфальтов, жилисто-жива,
как петушиный орден
с гребнем,
оторванная голова.

Шутливый набросок

Зое

Живу в сторожке одинокой,
один-один на всем свету.
Еще был кот членистоногий,
переползающий тропу.

Он, в плечи втягивая жутко
башку, как в черную трубу,
вещал, достигнувши желудка,
мою пропащую судьбу.

А кошка — интеллектом уже.
Знай, штамповала деток в свет,
углами загибала ушки
им, как укладчица конфет.

Нью-йоркские значки

*Кока-кола. Колокола.
Точно звонница, голова...*

«Треугольная груша».

Блещут бляхи, бляхи, бляхи,
возглашая матом благим:
«Люди — предки обезьян»,
«Губернатор — лесбиян»,
«Непечатное — в печать!»,
«Запретите запрещать!»

«Бог живет на улице Пастера, 18. Вход со двора».

Обожаю Гринич Вилидж
в саркастических значках.
Это кто мохнатый вылез,
как мошна в ночных очках?

Это Ален, Ален, Ален!
Над смертельным карнавалом,
Ален, выскочи в исподнем!
Бог — ирония сегодня.
Как библейский афоризм
гениальное: «Вались!»

Хулиганы? Хулиганы.
Лучше сунуть пальцы в рот,
чем закуснуть куликами
буржуазовых болот!

Бляхи по местам филейным
коллективным Вифлеемом
в мыле дают трепака —
«мини» около пупка.

Это Селма, Селма, Селма
агитирующей шельмой
подмигнула и — во двор:
«Мэйк лав, нот уор!» *

* «Твори любовь, а не войну!»

Бог — ирония сегодня.
Блещут бляхи над зевотой.
Тем страшнее, чем смешней,
и для пули — как мишень!

«Бог переехал на проспект Мира, 43. 2 звонка».

И над хиппи, над потопом
ироническим циклопом
блещет Время, как значком,
округлившимся зрачком!

Ах, Время,
сумею ли я прочитать, что написано в
твоих очах,
мчащихся на меня,
увеличиваясь, как фары?
Успею ли оценить твою хохму?..

Ах, осень в осиновых кружочках...
Ах, восемь
подброшенных тарелочек жонглера,
мгновенно замерших в воздухе,

будто жирафа убежала,
а пятна от нее
остались!..

Удаляется жирафа
в бляхах, будто мухомор,
на спине у ней шарахнуто:
«Мэйк лав, нот уор!»

Июнь-68

Лебеди, лебеди, лебеди...
К северу. К северу. К северу!..
Кеннеди... Кеннеди... Кеннеди...
Срезали...

Может, в чужой политике
не понимаю что-то?
Но понимаю залитые
кровью беспомощной щеки!

Баловень телепублики
в траурных лимузинах...
Пулями, пулями, пулями
бешеные полемизируют!..

Как у него играла,
льнула луна на брови...
Думали — для рекламы,
а обернулось — кровью.

Незащищенность вызова
лидеров и артистов,
прямо из телевизоров
падающих на выстрел!

Ах, как тоскуют корни,
отнятые от сада,
яблоней на балконе
на этаже тридцатом!..

Яблони, яблони, яблони —
к дьяволу!..

Яблони небоскребов —
разве что для надгробьев.

* * *

Нам, как аппендицит,
поудалили стыд.

Бесстыдство — наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь толщи наших щек
не просочится свет.
Но по ночам — как шов,
занает — спасу нет!

Я думаю, что бог
в замену глаз и уш
нам дал мембрану щек,
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —

не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —
мне гладит щеки стыд
с изнанки утюгом.

Как стыдно, мы молчим.
Как минимум — схожим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим.

Далекий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиазаказной...
Мне стыдно за твои

соленые, что льешь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слез
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И черный ручеек
бежит на телефон
за все, за все, что он
имел и не сберег,

за все, за все, за все,
что было и ушло,
что сбудется ужо,
и все еще — не все...

В больнице режиссер
чернеет с простыней.
Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны.

Застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...

Обязанность стиха
быть органом стыда.

Художник Филонов

С ликом белее мела,
в тужурочке вороненой,
дай мне высшую меру,
комиссар Филонов!

Высшую меру жизни,
высшую меру голоса,
высокую,
как над жижей,
речь вечего колокола.

Был ветер над Россией бешеный,
над взгорьями городов
крутило тела повешенных,
как стрелки гигантских часов.

А ты, по-матросски свойский,
как шубу с плеча лесов,

небрежно швырял Подвойскому
знамена царевых полков.

На столике полимеровом —
трефовые телефоны.
Дай мне высшую меру,
комиссар Филонов.

Сегодня в Новосибирске
кристального сентября
доклад о тебе бисируют
студенты и слесаря.

Суровые пуловеры
угольны и лимонны.
Дай им высшую веру,
Филонов!

Дерматинный обыватель
сквозь пуп,
как в дверной глазок,
выглядывал: открывать иль
надежнее — на засов!

Художник вишневоглазый
леса писал сквозь прищур,
как проволочные каркасы
не бывших еще скульптур.

Входила зима усмейно.
В душе есть свои сезоны.
Дай мне высшую Смену,
Филонов.

Рано еще умиляться.
Как написал твой друг:
«Много еще

разных мерзавцев
ходит по нашей земле
и вокруг...»

●
Небо, кто власы твои вычесывает странные?
И воды с голубями?

По силуэтному мосту идут со станции,
отражаясь в реке,
как двусторонний гребень
с выломанными
зубьями.

Илтинская криминалистическая лаборатория

Сашка Марков, ты — король лаборатории.
Шишка сыска, стихотворец и дитя.
Пред тобою все оторвы припортовые
обожающе снижают скоростя.

Кабинет криминалистики — как перечень.
Сашка Марков, будь Вергилием, веди!
Обвиняемые или потерпевшие,
стонут вещи с отпечатками беды.

Ах, насквозь пробитая дубленочка!
Милая, на что пошла!
Ненавидящая, стало быть, влюбленная,
загубила все или спасла?

И, глядя на эту космографию,
точно дети нос приплюснули во мрак,
под стеклом стола четыре фотографии —
ах...

Ах, поэты, с беззаветностью отдавшиеся
ситуациям, эпохам, временам,—
обвиняемые или пострадавшие,
с беспощадностью прощающие нам!

Экспертиза, называемая славою,
меж литературных буффонад...
Знают правые, что левые творят?
но не ведают, где левые, где правые?..

И, глядя в меня глазами потеплевшими,
инстинктивно проклиняемое мной,
обвиняемое или потерпевшее,
воет Время над моею головой!

Победители, прикованные к пленным.
Невменяемой эпохи лабиринт.
Просветление на грани преступления.
Боже правый, Сашка Марков, разберись!

* * *

Все возвращается на круги свои.
Только вращаются круги сии.

Вот вы вернулись, отмаявши крюк,
круг разомкнулся — да был ли тот круг?

Годы чужие. Жены чужие.
Вам наплевать — вы о них не тужили!

Ах, усмехающееся «увы»
круга невинности, дома, любви...

Все бы сменял, чтоб узнать на лице
снег твой несмятый
на раннем крыльце!

Лесалки

Ромашек белая махина
 столпилась в дебрях,
как буквы пишущих машинок
 на длинных стеблях.

Неуловимые синицы
 их лишь касались,
как пальцы милой машинистки —
 или казались?

О машбюро цветного бора,
 о бабье лето,
и бабьи вспыхнувшие взоры
 поверх кареток!

Мерцанье ленты муравейной,
 лесалок «гвоздики»,
какое женское волненье
 в дрожаньи воздуха!

Каких постановлений тыщи,
 в ветвях витая,
стучит твой пальчик,
 неостывший
 после свиданья?

Что вам сдиктовывает эхо
 лесных совминов?
О чем вы прыскаете смехом,
 оправив «мини»?

Не Парки — экстрасекретарши
 ткут опись леса,
и Тьму Времен, и Лист летящий,
 и Осень с Летом.

А рыжая — на перерыве.
Легла в левкои полевые
и ловит зеркальцем карманным
на спине
 укус комарий!

Улитки-домушницы

В. А.

Уже, наверно, час тому, как
рассвет означит на стене
ряды улиточек-домушниц
с кибиточками на спине.

Магометанские моллюски,
Их продвижение — не иллюзия.
И, как полосочки слюды,
за ними тянутся следы.

Они с катушкой скотча схожи,
как будто некая рука
оклеивает тайным скотчем
дома и судьбы на века.

С какой решительностью тащат —
без них, наверно, б мир зачах —

домов, замужеств, башен тяжесть
на слабых влажных язычках!

Я погружен в магометанство,
секунды протяженьем в год,
где незаметна моментальность
и видно, как гора идет.

Эпохой, может, и побрезгуют.
Но миллиметра не простят.
Посылки клеят до востребования.

Куда летим? Кто адресат?

Шафер

На свадебном свальном пиру,
бренча номерными ключами,
я музыку подберу.
Получится слово: печально.

Сосед, в тебе все сметено
отчаянно-чудным значеньем.
Ты счастлив до дьявола, но
слагается слово: плачевно.

Допрыгался, дорогой.
Наяривай вина и закусь.
Вчера, познакомясь с четой,
ты был им свидетелем в загсе.

Она влюблена, влюблена
и пахнет жасминовой кожей.
Чужая невеста, жена,
но жить без нее ты не сможешь!

Ты выпил. Ты выйдешь на снег
повыветрить околесицу.
Окошки потянутся
 вверх
по белым веревочным лестницам.

Закружится голова.
Так ясно под яблочко стало,
чему не подыщешь слова.
Слагается слово: начало.

* * *

Напоили.

Первый раз ты так пьяна,
на пари ли?
Виновата ли весна?
Пахнет ночью из окна
и полынью.
Пол — отвесный, как стена...
Напоили.

Меж партнеров и мадам
синеглазо
бродит ангел вдребадан,
семиклашка.
Ее мутит. Как ей быть?
Хочет взрослою побыть.

А в передней
все наяживает джаз,

как посредник:

«Все на свете в первый раз,
не сейчас — так через час,
интересней в первый раз,
чем в последний...»

Но чьи усталые глаза
стоят в углу, как образа?
И не флиртуют, не манят —
они отчаяньем кричат.

Что им мерещится в фигурке
между танцующих фигур?

И как помада на окурках,
на смятых пальцах
маникюр.

ДНЕВНИК „СОФИЯ-67“

1. Бар „Рыбарска хижа“

Божидару Божилову

Серебряных несербских рыбин
рубаем хищно.
Наш пир тревожен. Сижу, не рыбаюсь
в «Рыбарске хиже».

Ах, Божидар, антенна божья,
мы — самоеды.
Мы оба тощи. Мы рыбы тоже.
Нам тошно это.

На нас — тельняшки, меридианы —
жгут, как веревки.
Фигуры наши —
как Модильяни —
для сковородки.

Кто по-немецки, кто по-румынски...
Мы ж — ультразвук.
Кругом отважно чужие мысли
и ультрашуки.

Кто нас услышит? Поймет? Ответит?
Нас, рыб поющих?
У Времени изящны сети
и толсты уши.

Нас любят жены
в чулках узорных,
они — русалки.
Ах, сколько сеток
в рыбачьих зонах
мы прокусили!

В банкетах пресных
нас хвалят гости,
мы нежно кротки.

Но наши песни
вонзятся костью
в чужие глотки!

2. Старая песня

Г. Джагарову

«По деревне янычары детей отбирают...»
Болгарская народная песня

Пой, Георгий, прошлое болит.
На иконах — конская моча.
В янычары отняли мальчика.
Он вернется — родину спалит.

Мы с тобой, Георгий, держим стол.
А в глазах — столетия горят.
Братия насиуют сестер.
И никто не знает, кто чей брат.

И никто не знает, кто чей сын,
материнский вырезав живот.
Под какой из вражеских личин
раненая родина зовет?

Если ты, положим, янычар,
не свои ль сжигаешь алтари,
где чужие — можешь различать,
но не понимаешь, где свои.

Безобразя рощи и ручьи,
человеком сделавши на миг,
кто меня, Георгий, отлучил
от древесных родичей моих?

Вырванные груди волоча,
остолбеневая от любви,
мама, отшатнись от палача.

Мама! У него глаза — твои.

Грипп „Гонконг-69“

Гриппозная пора
как можется тебе?
Гриппозная молва
в жару, в снегу, в беде.

Беспомощна наука.
И с Воробьевых гор
в ночном такси старуха
бормочет наговор:

«Снега — балахоном.
Бормочет Горгона:
«Гонконг, гоу хоум!
Гонконг, гоу хоум!»

Грипп,
грипп,
грипп,
грипп,
ты — грипп,

я — грипп,
на трех
могли б...

Грипп... грипп...
Кипи, скипидар,
«Грипп — нет!
хиппи — да!»

Лили Брик с «Огоньком»
или грипп «Гонконг»?

Грипп,
грипп,
хип-хип,
гип-гип!
«Открой «Стоп-грипп»,
по гроб — «Гран-При»!

Райторг
открыт.
«Нет штор.
Есть грипп».

«Кто крайний за гриппом?»
Грипп, грипп, грипп, грипп, грипп...

«Как звать?»
«Христос!»
«Что дать?»
«Грипп-стоп»...

«Одна знакомая лошадь предложила:
«Человек — рассадник эпидемии. Стоит
уничтожить человечество — грипп пре-
кратится...»

По городу гомон:
«Гонконг, гоу хоум!»
Орем Иерихоном:
«Гонконг, гоу хоум!»

Взамен «уха-горла» —
к нам в дом гинеколог.
«Домком? Нету коек».
«Гонконг, гоу хоум!»

Не собирайтесь в сборища.
В театрах сбор горит.
Доказано, что спорящий
распространяет грипп.

Целуются затылками.
Рты марлей позатыканы.
Полгороду
 народ
руки не подает.

И нет медикаментов.
И процедура вся —
отмерь 4 метра
и совершенствуйся.

Любовник
 дал ходу.
В альков не загонишь.
Связь по телефону.
«Гонконг,
 гоу хоум!»

Любимая моя
как дни ни тяжелы,
уткнусь
 в твои уста,
сухие от жары.

Бегом по уколам.
Жжет жар геликоном.
По ком
 звонит
 колокол?

«Гонконг, гоу хоум!..»

Из Хемингуэя

Влюбленный в слово,
все, что я хочу,—
сложить такое
словосочетанье,
какое неподвластно попаданию
ни авиа, ни просто палачу!

Мы, люди, погибаем, убываем.
Меня и палачей моих
переживет
вот этот стих,
убийственно неубиваем.

*(Конечно, надо, чтобы еще повезло в словотворчестве.
Бывает, повезет — так нет, растрянжиришь все по мело-
чам.)*

Робок я. Ведь я так долго был на воде.

Я знаю, как убивать. Верю в это.

Вернее, не верю, но делаю.

Все дело в практике. Практика. Практика и практика.

*Сердце мое съела подводная черепаха с рубкой на спине.
Да еще котелок раскалывается.
Башка трещит.
Мигрень — как гость в доме,
меня не отпускает неусыпно.
Конечно,
за компанию — спасибо,
но хочется остаться одному.
Дружу с мигренью.
Она — мой последний друг.
Человек без детей и без кошек. Нет знакомого
манго за окном.
Вместо длинного прыжка в морскую воду —
пятидюймовая ванна.
Оружие сдано.*

*Нет кошек.
Холостая конура.
Шатает череп от морского шума.
Глаза зажмуришь —
шхуна, шхуна,
шхуна...
И эскадрилий красная икра!*

Другие продолжают бой.

*Подадимся в пассажиры. Ждем на «джипике» среди
разных вралей
и хануриков.*

Нет, не такого финиша мы ждали. Не такого.

*Не такого, когда всплывала подлодка, не такого —
мы нажимали пусковую кнопку. Во рту пересыхало.*

Где ты, Патчи?

Где ты, Вульфи?

А мы давали прикурить...

Такого огонька давали!..

Это мы могли.

*Это было нашим единственным богатством — давать
огонька!*

Тоскую по Вульфи. Он был мужик что надо, Вульфи!

*Он стоял на мостике. Он никогда не ронял баллона
с воздухом.*

Он говорил: «Старик, все в ажуре.

Не трухай, старик. Со мной все в ажуре».

Тоскую по морю. К друзьям тянет.

Плевал я на мигрень! Не трухай, Вульфи! Мне весело.

Обещаю быть в ажуре.

Тоскуется.
Небрит я и колюч.
Соперничая с электрочасами,
я сторожу
неслышное касанье.
Я неспроста оставил в двери ключ.

Двенадцать скоро.
Время для ворья.
Но ты вбежишь,
прошедшим огороша.
Неожиданно тихоголоса,
ты просто спросишь:
«Можно? Это я».
Ты, светлая, воротишь, что ушло.
Запахнет рыбой,
трапом,
овощами...

Так, загребая,
воду возвращает
(чтоб снова упустить ее!)
весло.

*Не трухай, Вульфи!
Со мной все в ажуре.
Нас мощно приложили.
Но и мы не в убытке.
И разве мы хнычем, если огонька дает кто-то другой?
Вместо нас?*

Р. Щедрину

В воротничке я —
как рассыльный
В кругу кривляк.
Но по ночам я — пес
России
О двух крылах.

С обрывком галстука на вые,
и дыбом шерсть.
И дыбом крылья огневые.
Врагов не счесть...

А ты меня шерстишь
и любишь,
когда ж грустишь —

выплакиваешь мне,
что людям
не сообщишь.

В мурло уткнешься меховое,
В репьях, в шипах...
И слезы общую
звездою
В шерсти шипят.

И неминуемо минуем
твою беду
в неименуемо немую
минуту ту.

А утром я свищу насильно,
но мой язык —
что слезы
слизывал
России,
чей светел лик.

Языки

«Кто вызывал меня?
Аз язык...»

...Ах, это было, как в сочельник! В полумраке собора алым
языком извивался кардинал.

Пред ним, как онемевший хор, тремя рядами разинутых
ртом

замерла паства, ожидая просвирок.

Пасть негра-банкира была разинута, как галоша на
красной подкладке.

«Мы — языки...»

Наконец-то я узрел их.

Из разъятых зубов, как никелированные застёжки на
«молниях»,

из-под напудренных юбочек усов,

изнывая, вываливались алые лизаки.

У, сонное зевало, с белой просвиркой, белевшей, как
запонка

на замшевой подушечке,

У, лебезенок школьника, словно промокашка с лиловой
кляксой

и наоборотным отпечатком цифр,
У, Язун с жемчужной сыпью — как расшитая бисером
византийская спальная туфелька,

У, изящный музычок певички с прилипшим к нему, точно
черная

пружинка, волоском,
У, лизоблуды...

На кончиках некоторых — как на носу дрессированных
тюленей
крутятся хрустальные шары — порхали одуванчики
песенок.

О заглатык циркового глотателя факелов, похожий на
совок, пропитанный противопожарным раствором.

Над ним витала цирковая песенка:

*«Лилипуты
пили люто.*

*Билибонсы
пили больше.*

*Боссы на периферии
билибонсов перепили».*

Над едалом сластены, из которого, как из кита, били
нетерпеливые фонтанчики, порхал куплет:

*«Продащица, точно Ева,—
ящик яблочек — налево!»*

Два оратора перед дискуссией смазывали свои длинные,
как лыжи с желобками посередине, мазью для скольжения,
у бюрократа он был проштемпелеван лиловыми чернилами,
будто мясо на рынке,
ах, сказик сказочника, как шерстяной карминный новогод-
ний чулок, набитый чудесами...

О, языки клеветников, как перцы, фаршированные
пакостями,
они язвивались и яздваивались на конце, как черные
фраки или мокрицы.

У одного язвило набухло, словно лиловая картофелина в
сырой темноте подземелья. Белыми стрелами из него
произрастали сплетни.

Ядило этот был короче других языков. Его, видно,
ухватили однажды за клевету, но он отбросил кончик, как
ящерица отбрасывает хвост. Отрос снова!

Мимо черт нес в ад двух критиков, взяв их, как зайца за уши, за их ядовилые язылы.

Поистине не на трех китах. а на трех языках, как чугунный горшок на костре, закипает мир.

...И нашла тьма-тьмущая языков, и смешались речи несметные,
и рухнул Вавилон...

А языческое солнце, как диск о 18 лепестках, крутилось в воздухе, будто огненный вентилялятор.

«Мама, смотри — у него к кончику прилип уголок с зубчиками почтовой марки», «Дядя — филателист».

Снаружи стоял мороз, неожиданный для августа.

По тротуарам под 35 градусов летели замерзшие фигуры, вцепившись зубами в упругие облачка пара изо рта, будто в воздушные шары.

У некоторых на облачках, как в комиксах, были написаны мысли и афоризмы.

А у постового пар был статичен и имел форму плотной
белой гусиной ноги. Будто он держал ее во рту за
косточку.
Языки прятались за зубами — чтобы не отморозиться.

* * *

Лист летящий, лист спешащий
над походочкой моей —
воздух в быстрых отпечатках
женских маленьких ступней.

Возвращаются, толкутся
эти светлые следы,
что желают? что толкуют?
Ах, лети,
лети,
лети!..

Вот нашла — в такой глуши,
в ясном воздухе души!

Разрыв

Сколько свинцового
яда влитò,
сколько чугунных
лжей...
Мое лицо
никак не выжмет
штангу
ушей...

Снег в октябре

Падает по железу
с небом напополам
снежное сожаление
по лесу и по нам.

В красные можжевельники —
снежное сожаление,
ветви отяжелелые
светлого сожаления!

Это сейчас растает
в наших речах с тобой,
только потом настанет
твердой, как наст, тоской.

И, оседая, шевелится,
будто снега из детств,
свежее сожаление
милых твоих одежд.

Спи, мое день-рождение,
яблоко закусав.
Как мы теперь раздельно
будем в красных лесах?!

Ах, как звенит вслед лету
брошенный твой снежок,
будто велосипедный
круглый литой звонок!



Баллада эта навеяна работой наших врачей во вражеском плену. Ход ее, понятно, изменен вымыслом и фантастикой. Но в жизни все было куда более фантастично.

С Манфредом Генриховичем Эсеном (под такой фамилией знали подпольщики доктора Эс-си-Эсинга) я познакомился в Ялте, где он работает рентгенологом. Рослый латыш в чесучовой рубашке, уроженец Донбасса, он поразил меня легкой аба, северным сиянием глаз. Будучи в плену, став главврачом Павлоградского лагеря, окруженный

октор Осень

смертью, подозрительностью, он превратил госпиталь в комбинат побегов к партизанам. Провоцируя признаки страшной болезни, людей списывали и вывозили из лагеря. Так было переправлено более тысячи человек, а около пяти тысяч молодых павлоградцев было спасено от угона в Германию. Это слишком незеро-рятно, чтобы лечь в стихи буквально. Сам Эсен до последних дней считался погибшим. В литературе о павлоградской эпопее говорится «о легендарном партизанском докторе». Есть еще несколько подобных примеров. Доктор Осень, конечно, вымыш-лен.

1

Главврач немецкого лагеря,
назначенный из пленных,
выводит ночами в колбе
невиданную болезнь,
машины увозят мертвых,
смерзшихся, как поленья,
а утром ожившие трупы
стригут автоматами лес.

2

Доктор Осень, ах, доктор Осень!
Занавеска затенена.
Над спиной твоей, будто оспиной,
пулей выщерблена стена.

Над бараком витают стоны.
Очи бешеные бессонны.
На полосках слепых петлиц
следы кубиков запеклись.

Корифеи из лабрадора,
Павлов, Мечников, Гиппократ,—
все дерзали в лабораториях,
рисковали — но чтобы так?!

Чтоб от виселицы в трех метрах,
в микроскопном желтом глазке,
жизнь искать в волосочке смерти —
сам от смерти на волоске?!

Это надо быть трижды гением,
чтоб затравленного средь мглы
пригвоздило тебя вдохновение,
открывающее миры.

И, сорвавши флажок финальный,
ты не можешь вскричать: «Нашел!..»
Спи, башку свою гениальную
уронив на дощатый стол.

Доктор Осень засыпает. В это время колба с шипением раздувается, как кобра, вверх. Из нее появляется МЕФИСТОФЕЛЬ. Он круглолиц, чисто выбрит, стрижен под полубокс.

МЕФИСТОФЕЛЬ:
Хайль Гибель!

Я, коллега, к вам делегатом
с предложением деликатным.

Вы дотронулись до рубильника
биологического баланса.
Жизнь и смерть — вопросы глубинные.
Не опасно ли баловаться?
Гуманисту-врачу прелестнее
Изобрести леченья, а не болезни.
Ваш поступок осудят гордо
непорочные медики мира,
встав в халатах по горло,
как бутылки с кефиром.

Все согласовано в природе.
Луна, корова, лук-порей.
Народовольцы производят
естественный отбор царей.

Я ведь тоже не всем довольный
(вспомните эпизодик с Фаустом).

Остановить мгновение?

Всегда пожалуйста!

Вы ж изволите недозволенного.

Микросмерть ваша — как Аттила,
вдруг взалкает сверхэпидемий?

Хватит дрессировать бациллу.

Завернем в погребок питейный.

Там за импортною снедью
пофлиртуем с юной смертью.

Раздавим банку на троих.

Там мне пониженный тариф.

(За окном кричит П е т у х.)

МЕФИСТОФЕЛЬ

(с досадой передразнивая):

Кукареку!

Кукареку!

Пора!

Приветик конкуренту!

(Исчезает.)

ДОКТОР ОСЕНЬ
(пробуждаясь):

Условный знак. Нет перемен.
Ребята, значит, в партизанах.
Ори, петух! Конец терзаньям.
Да здравствует эксперимент!

3

(Доктор Осень смотрит в микроскоп)

Что прозревающему видно,
нам не дано.
Он в груше видит сердцевину,
под морем — дно.

Он с кислорода, как с осины,
сдерет кору.
О тыщи гусениц красивых
в микромиру!

Галактики кишат гирляндами.
Нам воздух — пуст,

ему же, как в компотной склянке,
цветаст и густ.

И в ваши радостные ноздри,
как в свод метро,
микробов Навуходонсоры
бегут пестро.

Он видит тайные процессы,
их негатив,
пунктиры факельных процессий
сквозь никотин,
и в наливающийся кровью
рябины лист
распада божии коровки
поразбредлись.
Будь осторожнее — растопчешь
любовь незримую.
Будь настороже — злой росточек
в атаку ринулся.

Скорее, врач. На то и зрячий.
Ори: «Чума!»

А людям воздух чист, прозрачен
(Чай, лаборант сошел с ума!).

С обмолвки началась религия.
Эпоха — с мига.
И микроусик гитлеризма
в быту подмигивал.

Микробрижжит, микрорадищев,
и микрогегель...
Милльон поэтов, не родившихся
от анти-бэби.

А в центре — как магнит двуполюсный,
иль нерв дрожит,
лежит личиночка двуполая,
в ней — Смертожизнь.

Дзень!
Жизнь для цыпленка, смерть — для скорлупки —
жизнь.

Дзень!
Чьи очки под колесами хрупнули?!

Дзень...
Жизнь
к волчонку бежит
в зубах с зайчихиной —
смертью?

Смерть
 в ракетах лежит,
 в которых гарантия жизни?
Жизнь
 зародилась из бездн,
 называемых смертью.
Смерть
 нам приносит процесс,
 называемый жизнью.
Дзень...
Великий превратится в точку.
 Искра — в зарю.
Кончины наши и источники
 в микромиру.
Ты наравне с Первосоздателем
 вступил в игру,
мой Доктор, бритый по-солдатски,
 зло изменяющий к добру.

4

Какая мука — первый твой надрез
под экспериментальную вакцину

связисту, синеглазому, как сыну!..
А вдруг неуправляема болезнь?..

Имеем ли мы право вызывать смерть?
Вдруг микросмерть взорвется эпидемией?
А где-то под тобою Оппенгеймер
над атомом неловок, как медведь...

ЭПИЛОГ, в котором автор встречается с героем

Доктор Осень, ну, вот мы и повидались.
Кабинет рентгенолога — исповедальня.
Кто-то зябко за локоть меня пододвинул.
Я замер.
Доктор Осень

глядел сквозь меня

золотыми глазами.

Я узнал эти Очи,

человечество зрящие.

Что ты зришь во мне, Осень,

в жизни — нужной иль зряшной?

Где какие разрухи, полеты, пороки
и затоптанные болевые пороги?

намокал от натуги.

рентгенокуръезов.

ваши снимки тоскуют без вымпелов.

Ее с водкой выпили.

Этот съел медальон, чтобы с личиком быть не в
разлуке.

в католических дебрях желудка!..

Эту радиолампу сглотал жизнелюбец из Винницы.
Он пытался ее

из себя плоскогубцами вынуть.

храня независимость хода,

свисали часы в пищеводах.

съел карманные, с боем.

Его — Время язвительно
изнутри оглашало собою.

Пусть мы скромны и бренны.
Но, как жемчуг усердный,
вызревает в нас Время,
как ребенок под сердцем.

И внезапно, как слон,
в нас проснется, дубася,
очарованный звон
Чрезвычайного Часа.

Час — что сверит грудклетку
с гласом неба и Леты,
Час набатом знобящим,
как «Не лепо ли бяше».

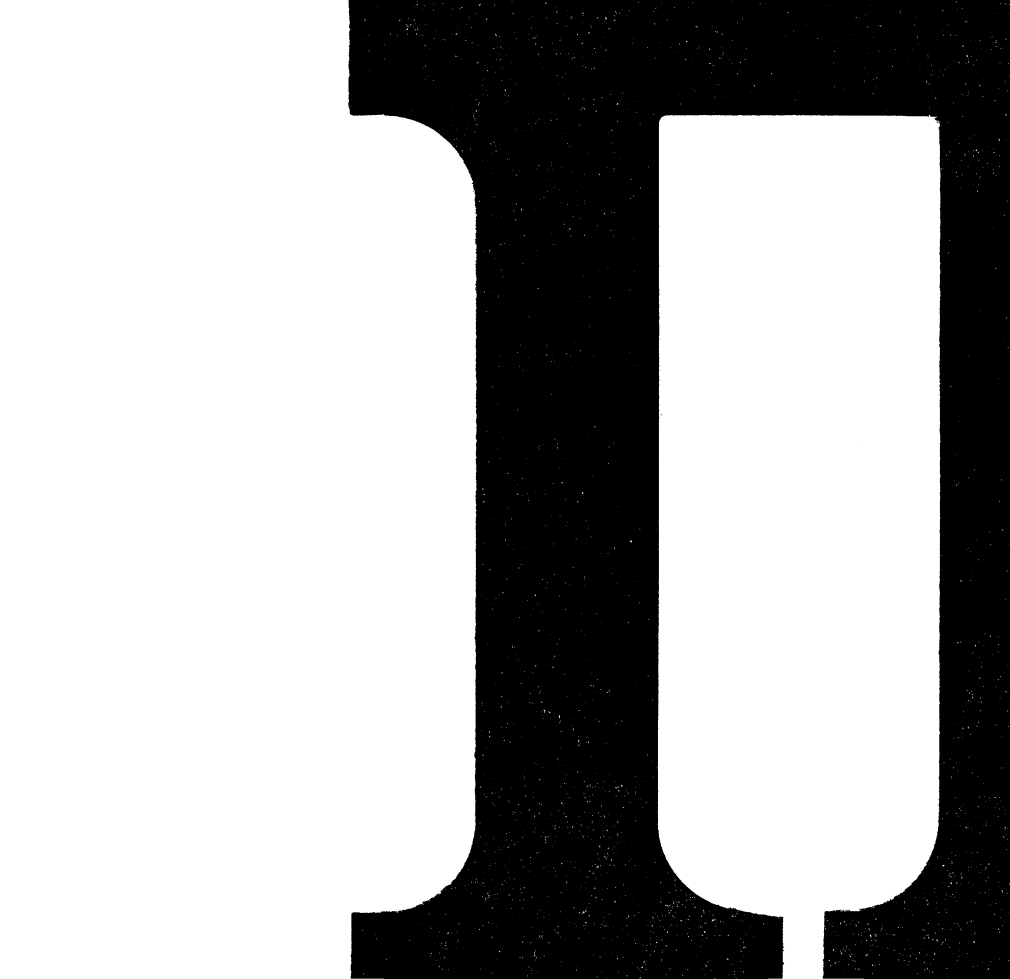
Час, как яблонный Спас
в августовских чертогах.
Станет планка для вас
подведенной чертою.

Вы с Россией одни.
Вы услали посредников.
Смерть — рождению сродни.
В этом счастье последнее.

Тогда вздрогнувший Блок
возглашает: «Двенадцать».
Отрок сжался в прыжок
к амбразуре прижаться.

Для того я рожден
под хрустальной синью,
чтоб транслировать звон
небосклонов России.

Да не минет нас чаша
Чрезвычайного Часа.



портрет Плисецкой

В ее имени слышится плеск аплодисментов.
Она рифмуется с плакучими лиственницами,
с персидской сиренью,
Елисейскими полями, с Пришествием.
Есть полюса географические, температур-
ные, магнитные.
Плисецкая — полюс магии.
Она ввинчивает зал в неистовую воронку
своих тридцати двух фуэте, своего темпе-
раменты, ворожит, закручивает: не отпу-
скает.
Есть балерины тишины, балерины-снежи-
ны —
они тают. Эта же какая-то адская искра.
Она гибнет — полпланеты спалит!
Даже тишина ее — бешеная, орущая ти-
шина
ожидания, активно напряженная тишина
между молнией и громовым ударом.
Плисецкая — Цветаева балета.
Ее ритм крут, взрывен.



Жила-была девочка — Майя ли, Марина ли — не в этом суть.

Диковатость ее с детства была пуглива и уже пугала. Проглядывалась сила предопределенности ее. Ее кормят манной кашей, молочной лапшой, до боли затягивают в косички, втискивают первые буквы в косые клетки; серебряная монетка, которой она играет, блеснув ребрышком, закатывается под пыльное брюхо буфета.

А ее уже мучит дар ее — неясный самой себе, но нешуточный.

«Что же мне делать, певцу н первенцу,
В мире, где наичернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью в мире мер?!»

Каждый жест Плисецкой — это иступленный вопль, это танец-вопрос, гневный упрек:

«Как же?!»

Что делать с этой «невесомостью в мире гирь»?

Самой невесомой она родилась.
В мире тяжелых, тупых предметов.
Самая летящая — в мире неповоротливо-
сти.



Мне кажется, декорации «Раймонды», этот
душный, паточный реквизит, тяжеловес-
ность постановки кого хочешь разъярит.
Так одиноко отчаян ее танец.
Изумление гения среди ординарности —
это ключ к каждой ее партии.
Крутая кровь закручивает ее. Это не обыч-
ная эоловая фея —

«Другие — с очами и с личиком светлым,
А я-то ночами беседую с ветром.
Не с тем — итальянским
Зефиром младым,—
С хорошим, с широким,
Российским, сквозным!»

Впервые в балерине прорвалось нечто —
не салонно-жеманное, а бабье, нутряной
воплъ.
В «Кармен» она впервые ступила на пол-
ную ступню.

Не на цыпочках пуантов, а сильно,
плотски, человечьи.

«Полон стакан. Пуст стакан.
Гомон гитарный, луна и грязь.
Вправо и влево качнулся стан...
Князем — цыган. Цыганом — князь!»

Ей не хватает огня в этом половинчатом
мире.

«Жить приучил в самом огне,
Сам бросил в степь заledenую!
«Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе я сделала?»

Так любит она.
В ней нет полумер, шепотка, компромиссов.
Лукав ее ответ зарубежной корреспондент-
ке.

— Что вы ненавидите больше всего?

— Лапшу!

И здесь не только зареванная обида детства.

Как у художника, у нее все нешуточное. Ну
да; конечно, самое отвратное — это лапша,
это символ стандартности, разваренной бес-

хребетности, пошлости, склоненности,
антидуховности.

Не о «лапше» ли говорит она в своих записках:

«Люди должны отстаивать свои убеждения...

...только силой своего духовного «я».

Не уважает лапшу Майя Плисецкая!

Она мастер.

«Я знаю, что Венера — дело рук,
Ремесленник — я знаю ремесло!»

●
Балет рифмуется с полетом. Есть сверхзвуковые полеты. Взбешенная энергия мастера — преодоление рамок тела, когда мускульное движение переходит в духовное. Кто-то договорился до излишнего «технизма» Плисецкой, до ухода ее «в форму». Формалисты — те, кто не владеет формой. Поэтому форма так заботит их, вызывает зависть в другом. Вечные зубрилы, они пыhtят над единственной рифмишкой своей, потеют в своих двенадцати фуэте. Плисецкая, как и поэт, щедра, перена-

сыщена мастерством. Она не раб формы. «Я не принадлежу к тем людям, которые видят за густыми лаврами успеха девяносто пять процентов труда и пять процентов таланта».

Это полемично.

Я знал одного стихотворца, который брался за пять человеко-лет обучить любого стать поэтом.

А за десять человеко-лет — Пушкин? Себя он не обучил.

Мы забыли слова «дар», «гениальность», «озарение». Без них искусство — нуль. Как показали опыты Колмогорова, не программируется искусство, не выводятся два свойства человека — чувство религии и чувство поэзии. Таланты не выращиваются квадратно-гнездовым способом. Они рождаются. Они национальные богатства — как залежи радия, сентябрь в Сигулде или целебный источник.

Такое чудо, национальное богатство — линия Плисецкой.

Искусство — всегда преодоление барьеров. Человек хочет выразить себя иначе, чем предопределено природой.

Почему люди рвутся в стратосферу? Что, дел на Земле мало?

Преодолевается барьер тяготения. Это естественное преодоление естества.

Духовный путь человека — выработка, рождение нового органа чувств, повторяю, чувства чуда. Это называется искусством. Начало его в преодолении извечного способа выражения.

Все ходят вертикально, но нет, человек стремится к горизонтальному полету. Зал стонет, когда летит тридцатиградусный торс... Стравинский режет глаз цветастостью. Скрябин пробовал цвета на слух. Рихтер, как слепец, зажмурясь и втягивая ноздрями, нащупывает цвет клавишами. Ухо становится органом зрения. Живопись ищет трехмерность и движение на статичном холсте.

Танец — не только преодоление тяжести. Балет — преодоление барьера звука.

Язык — орган звука? Голос? Да нет же; это поют руки и плечи, щебечут пальцы, сообщая нечто высочайше важное, для чего звук груб.

Кожа мыслит и обретает выражение. Песня без слов? Музыка без звуков.

В «Ромео» есть мгновение, когда произнесенная тишина, отомкнувшись от губ юноши, плывет, как воздушный шар, невидимая, но осязаемая, к пальцам Джульетты. Та принимает этот реализовавшийся звук, как вазу, в ладони, ощупывает пальцами.

Звук, воспринимаемый осязанием! В этом балет адекватен любви.

Когда разговаривают предплечья, думают голени, ладони автономно сообщают друг другу что-то без посредников.

Государство звука оккупировано движением. Мы видим звук. Звук — линия. Сообщение — фигура.

Параллель с Цветаевой не случайна.

Как чувствует Плисецкая стихи!

Помню ее в черном на кушетке, как бы от-

толкнувшуюся от слушателей. Она сидит вполоборота, склонившись, как царско-сельский изгиб с кувшином. Глаза ее выключены. Она слушает шеей. Модильянистой своей шеей, линией позвоночника, кожей слушает. Серьги дрожат, как дрожат ноздри.

Она любит Тулуз-Лотрека.

Летний настрой и отдых дают ей библейские сбросы Севана и Армении, костер, шашлычный дымок.

Припорхнула к ней как-то посланница эlegantного журнала узнать о рационе «примы».

Ах, эти эфирные эльфы, эфемерные сифиды всех эпох! «Мой пенюар состоит из одной капли шанели». «Обед балерины — лепесток розы»...

Ответ Плисецкой громоподобен и гомеичен.

Так отвечают художники и олимпийцы.

«Сижу не жрамши!»

Мощь под стать Маяковскому. Какая издевательская полемичность!

Я познакомился с ней в доме, где все говорит о Маяковском. На стенах ухмылялся в квадратах автопортрет Маяковского. Женщина в сером всплескивала руками. Она говорила о руках в балете. Пересказывать не буду. Руки метались и плескались под потолком, одни руки. Ноги, торс были только вазочкой для этих обнаженно плескавшихся стеблей.

В этот дом приходит опасно. Вечное командорское присутствие Маяковского сплющивает ординарность. Не всякий выдерживает такое соседство. Майя выдерживает. Она самая современная из наших балерин. Век имеет поэзию, живопись, физику — не имеет балета. Это балерина ритмов XX века. Ей не среди лебедей танцевать, а среди автомашин и лебедек! Я ее вижу на фоне чистых линий Генри Мура и капеллы Роншан.

«Гений чистой красоты» — среди издерганного, суматошного мира.

Красота очищает мир.

Отсюда планетарность ее славы.

Париж, Лондон, Нью-Йорк выстраивались в очередь за красотой, за билетами на Плисецкую.

Как и обычно, мир ошеломляет художник, ошеломивший свою страну.

Дело не только в балете. Красота спасает мир. Художник, создавая прекрасное, преображает мир, создавая очищающую красоту. Она ошеломительно понятна на Кубе и в Париже.

Ее абрис схож с летящими египетскими контурами.

Да и зовут ее кратко, как нашу сверстницу в колготках, и громоподобно, как богиню или языческую жрицу,— Майя.



ЗОПЫ

Изопы — это опыты изобразительной поэзии.

В противовес эстрадной, чтецкой поэзии (ЧП) я попытался — чем черт не шутит! — написать «только для глаз». Если ЧП вбирает в себя черты актерства и роднится с музыкой, то изопы соединяют слова и графику, становятся структурами.

Академик Лихачев указывает, что в древних рукописях Слово и Буква были картиной. Такими же элементами орнамента и цветастых сценок были надписи на лубках. Напечатанная двухцветно «Арифметика» Магницкого, по которой учился Ломоносов, являла интересные наборные комбинации, например случай «галерного деления», где красная сфера разрезалась черной галерой.

Древние обрядовые песнопения на Руси писались в виде акростиха и назывались краегласием. Таким образом, рисунок приобретал звуковое выражение.

Пушкин пришел в восторг от стихов Нодье, описывающих лестницу и расположенных, как лестница. А Ван-Гог, подписывая зеленые холсты кармином, вводил буквы в живопись наравне с фигурами и предметами. Лесенка Маллармэ и Маяковского (тот не зря был блестящим рисовальщиком), Хлебникова, шалости Апполинера, акробатика Кирсанова, Мартынов с его стихами, расположенными, как кристаллы самородков, вдохнули жизнь в образительность стиха.

Поэт мыслит образами. И, не оформляясь еще в слова, в сознании возникают изобразы стиха. В. Шкловский рассказывал: «Блок признавался, что, перед тем как написать стихи, ему видятся звуковые пятна». Так, например, целый цикл стихов он собирался написать из странного звукового пятна «разверзающий звездную мечь». Вот их-то, эти пятна, и хотелось записать.

Кино и ТВ увеличивают поток информации, зрительного познания. Сейчас человек познает, получает информацию, упав

кованную в картины, в зрительные образы, не меньше, чем через буквы. Картина становится словом, сообщением.

Для восточной поэзии — скажем, для японской — очень важно, как расположены стихи, даже какой тушью начертаны. Не случайна поэтому частая неудача перевода на русский японских танок — начертание, картинность стиха исчезают. В прошлом году вышел У. Уитмен в графическом переложении живописи.

Мне тоже захотелось порисовать словами, превратить словесную метафору в графически зримую. Я попытался графически дать некоторые стихи, которые в этой книжке набраны и обычным способом. Может, читателю будет интересно увидеть, как создавались они в авторском сознании, перед тем как стать четверостишиями.

Например, увидев людей, идущих по мосту с электрички на закате и отражающихся в воде, я попытался изобразить это. Можно было это начертать проверенным способом:

О небо,
 кто власа твои
 расчесывает
 странные?

И воды с глубями?..
По силуэтному мосту
 идут со станции,
отражаясь в воде,
 как двусторонний гребень
 с выломанными зубьями...

Думается, изоспособ нагляднее.

Я показал изображение друзьям и
спросил: что они видят?

Первый сказал:

«Это длинные волосы дождя, и мы, люди, своими судьбами, как гребнем, расчесываем, приводим в гармонию небо, жизнь, природу, воды времени, часто при этом недосчитываясь друг друга.

Эти люди устали после работы. Сверху — то, что они думают, внизу — то, что они есть, это их бессознательные ощущения».

Второй сказал: «Нет, внизу — несбывшееся, то, что потонуло в реке жизни, о чем

мечтали. Вот идет одинокий Крамер, на-
двинув кепку на уши. А он мечтал стать
Ремарком».

Третья сказала: «Нет, вверху идут
усталые, но уверенные в себе люди, вода
внизу сносит нелепые миражи, соблазны,
ерунду».

Четвертый сказал: «Это первые попав-
шиеся, случайные люди идут, поэтому сло-
ва, их изображающие, случайны».

Пятый сказал: «Непонятно, но на гре-
бень похоже».

Шестой сказал: «Это хохма...»

Другой изоп: вид сверху двухтрубного
пароходика, разрезающего воду.

Думаю, что стихотворению «Пляж» со-
ответствует «Хождение по водам». С это-
го начались стихи. Это метафорический ген
стиха.

Многие художники решали тему «хож-
дения по водам». Невидимую фигуру мож-
но мысленно представить по белому тре-
угольнику приближающихся плавков —

чайке между небом и морем. Она бела и материальна.

Или стихотворение «Бой петухов». В петушиной схватке и слова и звуки дерутся, ломаются, схлестываются. Обрывки слов, хаос боя, хаос звуков. Кухарка отрубает петуху Киру голову. Душа его отлетает в небеса. В петушиный рай. Стихи тоже обретают высшую гармонию четверостиший. Но и небеса тоскуют по земной конкретности. Из звуков слагается конкретная голова.

После того как ступня человека коснулась Луны, Луна исчезла как миф, сентиментальная легенда, ирреальность. Изоп «а Луна канула» читается слева направо и обратно. Читатель как бы следит взглядом за полетом на Луну и обратно.

Предвижу упреки в несерьезности, забавах, играх со словом. Не думаю, что поэзия обязательно «должна быть глуповатой», но почему не быть ей иногда легкоймысленной?

пот-пот
 пот-пот
 иди
 иди
 вот
 „волгу“
 о к черту
 лиду
 ...нину б
 ха, ха
 алимен
 тен
 я — 007
 иди
 унижу к
 голод
 ремарк
 иди
 иди
 -и в
 ник уда

топ-топ
 топ-топ
 иди
 иди
 тов.
 углов
 утречко
 удил
 бунин...
 ах, ах
 немила
 нет
 700 R
 иди
 к ужину
 долог
 крамер
 иди
 иди
 ви-
 адукин

парох₀ дик – мол₀ дой
тянет₀ елку за с₀ бой

пенится зеленой лапой

какая ель, какая ель;↗

какие рыбки на ей...

треугольная вода

ЈА И
ПЛАВКИ БОГА

[illegible]

Какое бешеное счастье,
хрипя воронкой горловой
под улюлюканье промчатся
с оторванною головой!

Но по ночам их к мщенью гребует
с асфальтов, жилисто-жива,
как петушиный орден с гребнем.
оторванная



Д л у н а н а н у л Р





XO

Я — Гойя!

**Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.**

Я — горе.

Я — голос

Войны, городов головни

на снегу сорок первого года.

Я — голод.

Я — горло

Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
 было над площадью головой...

Я — Гойя!

О грозди

Возмездия! Взял залпом на Запад —

я пепел незваного гостя!

**И в мемориальное небо вбил крепкие
звезды —
как гвозди.
Я — Гойя.**

Мастера

*Поэма из семи глав с реквиемом
и посвящениями*

ПЕРВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

**Колокола, гудошники...
Звон. Звон...**

**Вам,
Художники
Всех времен!**

**Вам,
Микеланджело,
Барма, Дант!
Вас молниєю заживо
Испепелял талант.**

**Ваш молот не колонны
И статуи тесал —**

Сбивал со лбов короны
И троны сотрясал.

Художник первородный —
Всегда трибун.
В нем дух переворота
И вечно — бунт.

Вас в стены муровали.
Сжигали на кострах.
Монахи муравьями
Плясали на костях.

Искусство воскресило
Из казней и из пыток
И било, как кресало,
О камни Моабитов.

Кровавые мозоли.
Зола и пот.
И Музу, точно Зою,
Вели на эшафот.

Но нет противоядия
Ее святым словам —
Воители,
 ваятели,
Слава вам!

ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Москва бурлит, как варево,
Под колокольный звон...

Вам,
Варвары
Всех времен!

Цари, тираны,
В тиарах яйцевидных,
В пожарищах-сутанах
И с жерлами цилиндров!

Империи и кассы
Страхуя от огня,
Вы видели в Пегасе
Троянского коня.

Ваш враг — резец и кельма.
И выжженные очи,
Как
Клейма,
Горели среди ночи.

Вас мое слово судит.
Да будет срам,
Да
Будет
Проклятье вам!

I

Жил-был царь.
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу не мочало —
Человека мотало!

Хвор царь, хром царь,
А у самых хором ходит вор и бунтарь.
Не туга мощна,
Да рука мощна!

Он деревни мутит.
Он царевне свистит.

И ударил жезлом,
и велел государь,
Чтоб на площади главной
Из цветных терракот
Храм стоял семиглавый —
Семиглавый дракон.

Чтоб царя сторожил,
Чтоб народ страшил.

II

Их было смелых — семеро,
Их было сильных — семеро,
Наверно, с моря синего
Или откуда с севера,

Где Ладога, луга,
Где радуга-дуга.

Они ложили кладку
Вдоль белых берегов,
Чтоб взвились, точно радуга,
Семь разных городов.

Как флаги корабельные,
Как песни коробейные.

Один — червонный, башенный,
Разбойный, бесшабашный.
Другой — чтобы, как девица,
Был белогруд, высок.
А третий — точно деревце,
Зеленый городок!

Узорные, кирпичные,
Цветите по холмам...
Их привели опричники,
Чтобы построить храм.

III

Кудри — стружки,
Руки — на рубанки.

**Яростные, русские
Красные рубахи.**

**Очи — ой, отчаянны!..
При подобной силе —
Как бы вы нечаянно
Царство не спалили!..**

**Бросьте, дети бисовы,
Кельмы и резцы!
Не мечите бисером
Изразцы.**

IV

**Не памяти юродивой
Вы возводили храм,
А богу плодородия,
Его земным дарам.**

**Здесь купола — кокосы,
И тыквы — купола.
И бирюза кокошников
Окошки оплела.**

Сквозь кожуру мишурную
Глядело с завитков,
Что чудилось Мишурину
Шестнадцатых веков.

Диковины кочанные,
Их буйные листы,
Кочевников колчаны
И кочетов хвосты.

И башенки буравами
Взвивались по бокам,
И купола булавами
Грозили облакам!

И москвичи молились
Столь дерзкому труду —
Арбузу и мансу
В чудовищном саду,

V

Взглянув на главы-шлемы,
Боярии рек:

— У, шельмы, —
В бараний рог!
Сплошные перламутры —
Сойдешь с ума!
Уж больно баламутиы
Их сурик и сурьма...

Купец галантный,
Куль голландский,
Шипел: — Ишь, надругательство,
Хула и украшательство.

Нашел уж царь работничков —
Смутьяиов и разбойничков!
У них не кисти,
А кистени.
Семь городов, антихристы,
Задумали они.
Им наша жизнь — кабальная,
Им Русь — не мать!

...А младший у кабатчика
Все похвалялся, тать,
Как в ночь перед заутреней,
Охальник и бахвал,

Царевне
Целомудренной
Он груди целовал...

И дьяки присные,
Как крысы по углам,
В ладони прыснули:
— Не храм, а срам!..

...А храм пылал вполнеба,
Как лозунг к мятежам,
Как пламя гнева —
Крамольный храм!

От страха дьякон пятился,
В сундук купчина прятался.
А немец, как козел,
Скакал, задрав камзол.
Уж как ты зол,
Храм антихристовый!..

А мужик стоял да посвистывал,
Все посвистывал, да поглядывал,
Да топор
рукой все поглаживал...

VI

Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий лай.
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня — пей, гуляй!
Гуляй!..
Девкам юбки заголяй!

Эх, на синих, на глазурных да на огненных саях...
Купола горят глазуньями на распахнутых снегах.
Ах!
Только губы на губах!

Мимо ярмарок, где ярки яйца, кружки, караси.
По соборной, по собольей, по оборванной Руси —
Эх, еси! —
Только ноги уноси!

Завтра новый день рабочий грянет в тысячу ладов.
Ой вы, плотнички, пилите тес для новых городов.
Го-ро-дов?
Может, лучше — для гробов?..

VII

Тюремные стены.
И нем рассвет.
И где поэма?
Поэмы — нет.

Была в семь глав она —
Как храм в семь глав.
А нынче безгласна —
Как лик без глаз.

Она у плахи.
Стоит в ночи.

.
И руки о рубахи
Отерли палачи.

РЕКВИЕМ

Вам свай не бить, не гулять по лугам.
Не быть, не быть, не быть городам!

Узорчатым башням в тумане не плыть.
Ни солнцу, ни пашням, ни соснам — не быть!

Ни белым, ни синим — не быть, не бывать,
И выйдет насильник губить-убивать.

И женщины будут в оврагах рожать,
И кони без всадников — мчаться и ржать.

Сквозь белый фундамент трава прорастет.
И мрак, словно мамонт, на землю сойдет.

Растерзанным бабам на площади выть.
Ни белым, ни синим, ни прочим — не быть!
Ни в снах, ни воочию — нигде, никогда...
Врете,
 сволочи,
Будут города!

Над ширью вселенской
В лесах золотых
Я,
Вознесенский,
Воздвигну их!
Я — парень с Калужской,
Я явно не промах.

В фуфайке колючей,
С хрустящим дипломом.
Я той же артели,
Что семь мастеров.
Бушуйте в артериях,
Двадцать веков!
Я тысячерукий —
руками вашими,
Я тысячеокий —
очами вашими.
Я осуществляю в стекле и металле,
О чем вы мечтали,
о чем — не мечтали...
Я со скамьи студенческой
Мечтаю, чтобы здания
Ракетой
стоступенчатой
Взвивались
в мирозданье!
И завтра ночью тряскою
В 0.45
Я еду
Братскую
Осуществлять!..

...А вслед мне из ночи
Окон и бойниц
Уставились очи
Безглазых глазниц.

Репортаж с открытия ГЭС

**Мы — противники тусклого.
Мы приучены к шири —
самовара ли тульского
или ТУ-104.**

**Затаенно, по-русски,
быстриною блещут
широченные русла
в миллион киловатт.**

**В этом пристальном крае,
отрицатели мглы,
мы не ГЭС открываем —
открываем миры.**

**И стоят возле клуба,
описав полукруг,
Магелланы, Колумбы
и Коломн и Калуг,**

судят веско, не робко,
что там твой эрудит...
Обалдело Европа
в объективы глядит.

И сверкают, как слитки,
лица крепких ребят
белозубой улыбкой
в миллиард киловатт.

1960

Осень в Сигулде

**Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,**

**прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,**

**леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,**

**мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,**

из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я ухожу из вас,

о родина, прощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах в 10 баллов
я пробовал выбить 100,

спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую

перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретилась, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло бasila

пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь,
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?

я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

Антимиры

Живет у нас сосед Букашкин,
В кальсонах цвета промокашки.
Но, как воздушные шары,
Над ним горят
Антимиры!

И в них магический, как демон,
Вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
И щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину
Виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимиры!
Фантасты — посреди мур.
Без глупых не было бы умных,
Оазисов — без Каракумов.

Нет женщин —
 есть антимужчины.
В лесах ревут антимашинны.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих.
На шее одного из них,
Благоуханна и гола,
Сияет антиголова!..

...Я сплю с окошками открытыми,
А где-то свищет звездопад,
И небоскребы
 сталактитами
На брюхе глобуса висят.

И подо мной
 вниз головой,
Вонзившись вилкой в шар земной,
Беспечный милый мотылек,
Живешь ты,
 мой антимирок!

**Зачем среди ночной поры
Встречаются антимирь?**

**Зачем они вдвоем сидят
И в телевизоры глядят?**

**Им не понять и пары фраз.
Их первый раз — последний раз!**

**Сидят, забывши про бонтон,
Ведь будут мучиться потом!
И уши красные горят,
Как будто бабочки сидят...**

**...Знакомый лектор мне вчера
Сказал: «Антимирь? Мур!»**

**Я сплю, ворочаюсь спросонок:
Наверно, прав научный хмырь...**

**Мой кот, как радиоприемник,
Зеленым глазом ловит мир.**

1961

Мотогонки по вертикальной стене

Н. Андросовой

Завораживая, манежа,
Свищет женщина по манежу! —
Краги —

красные, как клешни.
Губы крашеные — грешны.
Мчит торпедою горизонтальною,
Хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!
Щеки вдавлены, как воронка.
Мотоцикл над головой —
Электрическою пилой.

Надоело жить вертикально.
Ах, дикарочка, дочь Икара...
Обыватели и весталки
Вертикальны, как «ваньки-встаньки».

В этой, взвившейся над зонтами,
Меж оваций, афиш, обид,
Сущность женщины

горизонтальная

Мне мерещится и летит!

Ах, как кружит ее орбита!

Ах, как слезы к белкам прибиты!

И тиранит ее Чингисхан —

Замдиректора Сингичанц...

СИНГИЧАНЦ: «Ну, а с ней не мука?

Тоже трюк — по стене, как муха...

А вчера камеру проколола.. Интриги...

Пойду напишу

по инстанции...

И царапается, как конокрадка».

Я к ней вламываюсь в антракте.

«Научи, — говорю, — горизонту...»

А она молчит, амазонка.

А она головой качает.

А ее еще трек качает.

А глаза полны такой

горизонтальной

тоской!

Прощание с Политехническим

Большой аудитории посвящаю

**В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей,
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!**

**Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрешины!
Как нам мещане мешали встретиться!**

**Ура вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.**

Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.

Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,
Твое Величество —
Политехнический!
Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «ура».

12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.
Я вас люблю!

Чему смеетесь? Над чем всплакнете?
И что черкнете, косясь, в блокнотик?

Что с вами, синий свитерок?
В глазах тревожный ветерок...

Придут другие — еще лиричнее,
но это будут не вы —

другие.

Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить недолго. Суть не в овациях.
Мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться.

Я ненавидел тебя вначале.
Как ты расстреливал меня молчанием!
Я шел как смертник в притихшем зале.
Политехнический, мы враждовали!

Ах, как я сыпался! Как шла на помощь
записка искоркой электрической..
Политехнический,

ты это помнишь?

Мы расстаемся, Политехнический.

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь
со стоящим!

Ты ворожи ему, храни разиню.
Политехнический —
моя Россия! —
ты очень бережен и добр, как бог,
лишь Маяковского не уберег...

Поэты падают,
дают финты
меж сплетен, патоки
и суеты,
но где б я ни был — в земле, на Ганге, —
ко мне прислушивается
магически
гудящей
раковиною
гиганта
ухо
Политехнического!

Футбольное

Левый крайний!

**Самый тощий в душевой,
Самый страшный на штрафной,
Бито стекло, боже мой!..
И гераней..
Нынче пульей меж тузов
Блещет попкой из трусов
Левый крайний.**

**Левый шпарит, левый лупит.
Стадион нагнулся лупой,
Прожигательным стеклом
Над дымящимся мячом.**

**Правый край спешит заслоном.
Он сипит, как сто сифонов,
Ста медалями увенчан,
Стольким ноги поуучил...**

Левый крайний, милый мой,
Ты играешь головой!

О, атака до угара!
Одурение удара.

Только мяч,
 мяч,
 мяч,
Только — вмажь,
 вмажь,
 вмажь!
«Наши — ваши» — к богу в рай!..
Ай!
Что наделал левый край!..

Мяч лежит в своих воротах.
Солнце — черной сковородкой.

Ты уходишь, как горбун,
Под молчание трибун.

Левый крайний...

Не сбываются мечты,
С ног срезаются мячи.
И под краном
Ты повинный чубчик мочишь,
Ты горюешь
и бормочешь:
«А ударчик — самый сок,
Прямо в верхний уголок!»

1962

Лобная баллада

Их величеством поразвлекься
Прет народ от Коломн и Клязьм.
«Их любовница —
контрразведчица,
англо-шведско-немецко-греческая...»

Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,
Почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
Как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика
Подкатилась к носкам ботфорт,
Он берет ее
над толпою,
Точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щеки впились, как клещи,
Переносицею хрустя,
Кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует ее в уста.

Только Красная площадь ахнет,
Тихим стоном оглушена:
«А-а-анхен!...» —
Отвечает ему она:

«Мальчик мой государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки липкие
солонны?»

Баба я
вот и вся провинность
государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара
до малюсенькой ли любви?

ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови.

перегаром, борщом, горохом
пахнет щедрый твой поцелуй.

как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя
царуй!..»

**Царь застыл — смурной, малохольный,
Царь взглянул с такой
 меланхолией,
Что присел заграничный гость,
Будто вбитый по шляпку гвоздь.**

Париж без рифм

Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи Рококо
продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно —
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!»
Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!»

И вдруг —
город преобразился,
стены исчезли — вернее, стали прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров, висели
комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки,
горели фигуры и кровати,

вещи сбросили панцири, обложки, оболочки;
над столом
коричнево изгибался чай, сохраняя форму чайника,
и так же, сохраняя форму водопроводной трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,

в соборе Парижской богородицы шла месса;
как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы;
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки почему-то парил
над площадью, как знак:
«Проезд запрещен»;
над Лувром из постаментов, как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,
пружины были во всем,
все тикало,
о Париж,

мир паутинок, антенн и оголенных проволочек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,
о сердце под лиловой пленочкой,
Париж
(на месте грудного кармашка, вертикальная, как рыбка,

плыла бритва фирмы «Жиллет»)!
Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищенностью,
Париж,

в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,

как в вишне косточка,
Париж — горячая вода,
Париж,
как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,
он юн, как купальщицы,
бежали розовые собаки,

они смущенно обнюхивались,
они могли перелиться одна в другую, как шарики ртути,
и некто, голый, как змея,
промолвил: «Чернобурка я»,

шли люди,
на месте отвинченных черепов,

как птицы в проволочных клетках,
свистали мысли;

монахиню смущали мохнатые мужские видения,
президент мужского клуба страшился разоблачений
(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),

над полисменом ножки реяли,
как нимб, в серебряной тарелке
плыл шницель над певцом мансард,

дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,
в башке ОАСа оголтелой

наш милый Сартр,
задумчив, как кузнечик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих таинств

мудрый дух
в соломинку,

как стеклодув,
он выдул эти фонари,
весь полый город изнутри,
и ратуши и бюшери,
как радужные пузыри!

Я тормошу его:

**«Мой Сартр,
мой сад, от зим не застекленный,
зачем с такой незащищенностью
шары мгновенные
летят?»**

**Как страшно все обнажено,
на волоске от ссадин страшных,
их даже воздух жжет, как рашпиль,
мой Сартр!**

Вдруг все обречено?!»

**Молчит кузнечик на листке
с безумной мукой на лице.**

Било три...

**Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,
в зубах джазиста изгибался звук в форме саксофона,
женщина усмехнулась.**

«Стриптиз так стриптиз»,—

сказала женщина,

и она стала сдирать с себя не платье, нет,—
кожу! —
как снимают чулки или трикотажные тренировочные
костюмы.
— О! о! —
последнее, что я помню,— это белки,
бесстрастно-белые, как изоляторы,
на страшном,
оружем, огненном лице...
«...Мой друг, растает ваш глянсе...»

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках
мотоциклисты
в белых шлемах,
как дьяволы в ночных горшках.

Из поэмы „Лонжюмо“

В Лонжюмо сейчас лесопильня.
В школе Ленина? В Лонжюмо?
Нас распилами ослепили
бревна,— бурые, как эскимо.

Пилы кружатся. Пышут пыльщики.
Под береткой как вспышки — пыжики.
Через джемперы, как смола,
чуть просвечивают тела.

Здравствуй, утро в морозных дозах!
Словно соты, прозрачны доски.
Может, солнце и сосны — тезки?!
Пахнет музыкой. Пахнет тесом.

А еще почему-то — верфью,
а еще почему-то — ветром,
а еще — почему не знаю —
диалектикою познания!

Обнаруживайте древесину
под покровом багровой мглы.
Как лучи из-под тучи синей,
бьют

опилки
из-под пилы!

Добирайтесь в вещах до сути.
Пусть ворочается сосна,
словно глиняные сосуды,
солнцем полные до полна.

Пусть корою сосна дремуча,
сердцевина ее светла —
вы терзайте ее и мучайте,
чтобы музыкою была!

Чтобы стала поющей силищей
корабельщиков, скрипачей...

Ленин был
из породы
распиливающих,
обнажающих суть
вещей.

Монолог Мэрлин Монро

Я Мэрлин, Мэрлин.
Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,
невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осинowych,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин.
Я помню Мэрлин.
Ее глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,
меж звезд обильных,

217

(Как страшно вспомнить во
«Франс-Обзервере»
свой снимок с мордой
самоуверенной
на обороте у мертвой Мэрлин!)

Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб — как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,

невыносимо все ждать,
чтоб грянуло,
а главное —

необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

Невыносимо
горят на синем
твои прощальные апельсины...

Я — баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше —
сразу!

1963

Охота на зайца

Ю. Казакову

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожаные
Апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
Я, завгар, лейтенант милиции,
Лица в валенках, в хроме лица,
Зять Букашкина с пацаном —

Газанем!

«Газик», чудо индустриализации,
Наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Полыхают снега нарядные,
Сапоги на мне и тужурка,

Что же пляшет прицел мой, Юрка?
Юрка, в этом что-то неладное,
Если в ужасе по снегам
Скачет крови
 живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к зачатию,
Ослепленная и зловещая.
Она нынче вопит: «Зайчатины!»
Завтра взвоят о человечине...

Он лежал посреди страны,
Он лежал, трепыхаясь слева,
Словно серое сердце леса,
Тишины.

Он лежал, синеву боков
Он вздымал, он дышал пока еще,
Как мучительный глаз, моргающий,
На печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой,
Он возник,

**И над лесом, над черной речкой
Резанул
Человечий
Крик!**

*Звук был пронзительным и чистым, как
ультразвук
или как крик ребенка.
Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!
Это была нота жизни. Так кричат роженицы.*

**Так кричат перелески голые
И немые досель кусты,
Так нам смерть прорезает голос
Неизведанной чистоты.**

**Той природе, молчально-чудной,
Роща, озеро ли, бревно —
Им позволено слушать, чувствовать,
Только голоса не дано.**

**Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,**

**Вылетая, как из силка,
В небосклоны и облака.**

*Это длилось мгновение.
Мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся
земли.*

*Четыре черные дробинки, не долетев,
вонзились в воздух.
Он взглянул на нас. И — или это нам показалось —
над горизонтальными мышцами бегуна,
над запекшимися шерстинками шеи блеснуло
лицо. Глаза были раскосы и широко
расставлены, как на фресках Дионисия.
Он взглянул изумленно и разгневанно.*

**Он парил.
Как бы слился с криком.**

**Он повис...
С искаженным и светлым ликом,
Как у ангелов и певцов.**

**Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам.**

**«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакал пацан...**

**Возвращались в ночную пору.
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры,
Наши лица неслись во мрак.**

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

Чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая, словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни,

ТИШИНЫ...

звук будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.

Тишины.

**Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.**

Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,
чай, опять кулуарный авралец?
Горлопаны не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природы неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы поймем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,
светят тихие языки.

Из „Озы“

Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения в ресторане «Берлин». Зеркало там на потолке.

Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали гости. В центре потолка нежный, как вымя, висел розовый торт с воткнутыми свечами.

Вокруг него, как лампочки, ввернутые в элегантные черные розетки костюмов, сияли лысины и прически. Лиц не было видно. У одного лысина была маленькая, как дырка на пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами.

У другого она была прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просвечивали три мысли (две черные и одна светлая — незрелая).

Проборы щеголей горели, как щели в копилках.

Затылок брюнетки с приклепленным прозрачным нейлоновым бантом полз, словно муха по потолку.

Лиц не было видно. Зато перед каждым, как таблички перед экспонатами, лежали бумажки, где кто сидит.

И только одна тарелка была белая, как пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки пустое место?»

«Генерала, может, ждут?», «А может, помер кто?»

Никто не знал, что там сижу я. Я невидим. Изыщные денди, подходящие тебя поздравить, спотыкаются об меня, царапают вилками.

Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая, как подарок в целлофане.

Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то этакое! Поближе к жизни, не от мира сего... чтобы модерново...»

Поэт подымается (вернее, опускается, как спускают трап с вертолета). Голос его странен, как бы антимирен ему.

МОЛИТВА

Мать Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю —

стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Ее льдистые.

Я не кощунствую — просто нет силы,
Жизнь заberi и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!

Видишь — лежу — почернел, как кикимора.
Все безысходно...

Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,

Мать Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...

Читая, он запрокидывает лицо. И на его
белом лице, как на тарелке, горел нос,
точно болгарский перец.

Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и тостик!» Слово берет следующий поэт. Он пьян вдребезину. Он свисает с потолка вниз головой и просыхает, как полотенце. Только несколько слов можно разобрать из его бормотанья:

— Заонежье. Тает теплоход.

Дай мне погрузиться в твое озеро.

До сих пор вся жизнь моя —

Предозье.

Не дай бог — в Заозье занесет...

Все замолкают.

Слово берет тамада Ъ.

Он раскачивается вниз головой, как длинный маятник. «Тост за новорожденную». Голос его, как из репродуктора, разносится с потолка ресторана. «За ее новое рождение, и я, как крестный... Да, а как зовут новорожденную?» (Никто не знает.)

Как это все напоминает что-то! И под этим подвешенным миром внизу расположился второй, наоборотный, со своим поэтом, со своим тамадой Ъ. Они едва не

касаются затылками друг друга, симметричные, как песочные часы. Но что это? Где я? В каком идиотском измерении? Что это за потолочно-зеркальная реальность?! Что за наоборотная страна?!

Ты-то как попала сюда?

Еще мгновение, и все сорвется вниз, вдребезги, как капли с карниза!

Надо что-то делать, разморозить тебя, разбить это зеркало, вернуть тебя в твой мир, твою страну, страну естественности, чувства — где ольха, теплоходы, где доброе зеркало Онежского озера... Помнишь?..

Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд с кетовой икрой.

Но почему висящий напротив, как окорок, периферийный классик с ужасом смотрит на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим, а бутерброд реален! Он передвигается по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу.

Слух моментально пронизывает головы,
как бусы на нитке.

Красные змеи языков ввинчиваются в уши
соседей. Все глядят на бутерброд.

«А нас килькой кормят!» — вопит классик.
Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат
меня, кто же выручит тебя, кто же раз-
зобьет зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на
красную дорожку пола. Рядом со мной,
за стулом, стоит пара туфелек. Они, ви-
димо, жмут кому-то. Левая припала к
правой. (Как все напоминает что-то!)
Тебя просят спеть...

Начинаются танцы. Первая пара с хрустом
проносится по мне. Подошвы! Подо-
швы! Почему все ботинки с подковами?
Рядом кто-то с хрустом давит по ту-
фелькам. Чьи-то каблучки, подобно
швейной машинке, прошивают мне кожу
на лице. Только бы не в глаза!..

Я вспоминаю все. Я начинаю понимать все.
Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!
«Так как же зовут новорожденную?» —
 надрывается тамада.
«Зоя! — ору я. — Зоя!»

А может, ее называют Оза?

1965

Плач по двум нерожденным поэмам

Аминь.

**Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним.**

**На черной вселенной любовниками
отравленными
лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный.
Две жизни прижались судьбой половинной —
две самых поэмы моих
соловьиных!**

**Вы, люди,
вы, звери,
пруды, где они зарождались
в Останкине,—**

встаньте.

Вы, липы ночные,

как лапы в ветвях хиромантии,—

встаньте,

дороги, убитые горем,

довольно валяться в асфальте,

как волосы дыбом над городом,

вы встаньте.

Раскройте, гробы,

как складные ножи гиганта,

вы встаньте —

Сервантес, Борис Леонидович,

Брамаите,

вы б их полюбили, теперь они тоже останки,

встаньте.

И вы, член Президиума Верховного Совета

товарищ Гамзатов,

встаньте,

погибло искусство, незаменимо это,

и это не менее важно,

чем речь

на торжественной дате,

встаньте.

**Их гибель — судилище. Мы — арестанты.
Встаньте.**

**О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто
и прямо,
встань, мама.**

**Вы встаньте в Сибири,
в Париже, в глухих
городишках;
мы столько убили
в себе,
не родивши,**

**встаньте,
Ландау, погибший в косом лаборанте,
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау галантном,
встаньте,
вы, девка в джаз-банде,
вы помните школьные банты?**

Встаньте.

**Геройские мальчики вышли в герои, но в анти,
встаньте**

(я не о кастратах — о самоубийцах,
кто саморастратил святыя крупицы),
встаньте.

Погибли поэмы. Друзья мои в радостной панике —
«Вечная память!»
Министр, вы мечтали, чтоб юнгой
в Атлантике плавать,
вечная память,
громовый Ливанов, ну, где ваш несыгранный
Гамлет?

**вечная память,
Где принц ваш, бабуса? А девственность
 можно хоть в рамку обрамить,
вечная память,
зеленые замыслы, встаите как пламень,
вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть?
вечная память!..**

Аминь.

Минута молчанья. Минута — как годы,
Себя промолчали — все ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправишь.

Вечная память.

И памяти нашей, ушедшей как мамонт,
вечная память.

Аминь.

Тому же, кто вынес огонь сквозь потраву,—
Вечная слава!
Вечная слава!

Замерли

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!

**Все становится тайное явным.
Неужели под свистопад,
разомкнемся немой изваянием —
как раковины не гудят?**

**А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.
Спим.**

В. Катаеву

**Говорила биолог,
 молодая и зяблая:
«Это летчик Володя
 целовал меня в яблонях.
И, прервав поцелуй, просветлев из зрачков,
он на яблоню выплеснул
 свою чистую
 кровь!»**

Яблоня ахнула,
это был первый стон яблони,
по ней пробежала дрожь
негодования и восторга,
была пора завязей,
когда чудо зарождения

высвобождаясь из тычинок, пестиков,
ресниц,
разминается в воздухе.

Дальше ничего не помню.

Ах, зачем ты, любимый, меня пожалел?
Телу яблоневу от тебя тяжелеть.
Как ревную я к стовущему стволу.
Ночью нож занесу, но бессильно стою —
на меня, точно фары из гаража.
мчатся
яблоневые глаза!

Их 19.

Они по три в ряд на стволе,
как ленточные окна.

Они раздвигают кожу, как дупла.

Другие восемь узко растут из листьев.
В них ненависть, боль, недоумение —
что?

что?
что свершается под корой?
кожу жжет тебе известь?
кружит тебя кровь?

Так сидит старшекласница меж подружек, бледна, чем полна большеглазо —

Невозможно светло.

По генетике

напихано шевелятся тысячелетия.

Чтобы память нервов мешалась с хлорофиллами?

Или это биочудо?

*Где живут дево-деревья?
Как женщины пахнут яблоком!..*

...А 30-го стало ей неумоготу.

**Ночью сбросила кожу, открыв наготу,
врыта в почву по пояс,**

смертельно орет

и зовет

**удаляющийся
самолет.**

Больная баллада

**В море морозном, в море зеленом
можно застынуть в пустынных салонах.
Что опечалилась, милый товарищ?
Заболеваешь? Заболеваешь?**

**Глаз твой с подушки тоскует безмолвно —
больно?**

**Мы запропали с тобой в теплоход
в самый канун годовщины печальной.
Что, укачало? Но это пройдет.
Все образуется, полегчает.**

**Ты в эти ночи родила меня,
женски, как донор, наполнив собою.
Что с тобой, младшая мама моя?
Больно?**

**Милая, плохо? Планета пуста.
Официанты бренчат мелочишкой.**

Выйдешь на палубу —
пар изо рта.
Не докричишься, не докричишься.

Джаз нам играет в салоне пустом.
Где-то, поняв, что тебе беспокойно,
воет твой псина
на море другом.

Больно?

К нам, точно кошка, в каюту войдет
затосковавшая проводница.
Спросит уютно: чайку, молодежь,
или чего-нибудь подкрепиться?

Я, проводница, печалью упыюсь.
И в годовщину подобных кочевий
выпьемте, что ли, за дьявольский плюс
быть на качелях.

«Любят — не любят», за качку в мороз,
что мы сошлись в этом мире кержацком,
в наикачаемом из миров
важно прижаться.

**Пьем за сварливую нашу родню.
Воют, хвативши чекушку с прицепом.
Милые родичи, благодарю.
Но как тошнит с ваших точных рецептов.**

**Ах, как тошнит от тебя, тишина!
Благожелатели виснут на шею.
Ворот теснит, и удача тошна,
только тошнее**

**знать, что уже не болеть ничему,
ни раздражения, ни обиды.
Плакать начать бы, да нет, не начну.
Видно, душа, как печенка, отбита...**

**Ну, а пока что да здравствует бой.
Вам еще взвыть от последней обоймы.
Боль продолжается. Празднуйте боль!
Больно!**

Бьет женщина

В чьем ресторане, в чьей стране — не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья в бане?
За что — неважно. Значит, им — положено —
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина! Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая,
что на земле давно матриархат —
отбить, обуть, быть умной, хохотать —
такая мука — непередаваемо!

Влепи в него салат из солонины.
Мужчины, рыцари, куда ж девались вы?

Так хочется к кому-то прислониться —
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.
Пол-литра купишь. Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли в капронах ждать в морозы?
Самой восьмого покупать мимозы —
можно?!

Виновные, валитесь на колени,
колонны, люди, ленные аллеи,
вы без нее давно бы околели!
Смотрите, из-под грязного стола
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами прислоняюсь,
и по тебе сползаю тяжело,
и думаю: «Трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил!...»

1967

Забастовка стриптиза

Стриптиз бастует! Стриптиз бастует!
Над мостовыми канкан лютует.

Грядут бастующие — в тулупах, джинсах.
«Черта в ступе!
Не обнажимся!»

Эксплуататоров теснят, отбрехиваясь.
Что там блеснуло?
Держи штрейкбрехершу!

Под паранджою чинарь запаливают,
а та на рожу чулок напяливает.

Ку-ку, трудящиеся эстрады!
Вот ветеранка в облезлом страусе,
едва за тридцать — в тираж пора:
«Ура, сестрички,
качем права!

**Соцстрахование, процент с оаций
и пенсий ранних — как в авиации...»**

**«А производственные простуды?»
Стриптиз бастует.
«А факты творческого зажима?
Не обнажимся!»
Полчеловечества вопит рыдания:
«Не обнажимся.
Мы — солидарные!»**

**Полы зашивши
(«Не обнажимся!»),
в пальто к супругу
жена ложится!**

**Лежит, стервоза,
и издевается:
«Мол, кошки тоже
не раздеваются...»**

**А оперируемая санитару.
«Сквозь платье режьте — я солидарна!»**

**«Мы не позируем»,—
вопят модели.**

**«Пойдем позырим,
на Венеру надели
синенький халатик в горошек, с коротень-
кими рукавами!..»**

*Мир юркнул в раковину.
Бабочки, сложив крылышки, бешено
заматывались в куколки.*

*Церковный догматик заклеивал тряпочками
нагие чресла Сикстинской капеллы,
штопором он пытался
вытащить пуп из микеланджеловского
Адама.*

Первому человеку пуп не положен!

**Весна бастует. Бастуют завязи.
Спустился четкий железный
занавес.**

**Бастует там истина.
Нагая издавна,
она не издана, а если издана,
то в ста обложках под фразой фиговой —
попробуй выковырь!**

1968

Рождественские пляжи

(Из старой тетради)

Людмила,
 в сочельник,
 Людмила,
 Людмила,
в вагоне зажженная елочка пляшет.
Мы выйдем у Взморья.
 Оно нелюдимо.
В снегу наши пляжи!

В снегу наше лето.
 Боюсь провалиться.
Под снегом шуршат наши тени песчаные.
Как если бы гипсом
 криминалисты
следы опечатали.

В снегу наши августы, жар босоножек —
все лажа!

Как жрут англичане огонь и мороженое,
мы бросимся навзничь
на снежные пляжи.

Сто раз хоронили нас мудро и матерно,
мы вас эпатируем счастьем, мудрили!..
Когда же ты встанешь,
останется вмятина —
в снегу во весь рост
отпечаток
Людмилы.

Людмила,
с тех пор в моей спутанной жизни
звонит пустота —
в форме шеи с плечами,
и две пустоты —
как ладони оттиснуты,
и тянет и тянет, как тяга печная!

С звездою во лбу прибегала ты осенью
в промокшей штормовке.
Вода западала в надбровную оспинку.
(Наверно, песчинка прилипла к формовке.)

Людмила-2, я помолвлен с двойняшками.
Не плачь. Не в Путивле.

Как рядом болишь ты,
плечо мое вмявши,
и тень жалюзи
на тебе,
как тельняшка...

Как будто тебя
от меня ампутировали.

Оленья охота

**Трапециями колеблющимися
скользя через лес,
олени,
 как троллейбусы,
снимают ток
с небес.**

**Я опоздал к отходу их
на пару тысяч лет,
но тянет на охоту —
вслед...**

**Когда их бог задумал,
не понимал и сам,
что в душу мне задует
тоску по небесам.**

**Тоскующие дула
протянуты к лесам!**

О эта зависть резкая,
два спаренных ствола —
как провод перерезанный
к природе, что ушла.

Сквозь пристальные годы
тоскую по тому,
кто опоздал к отлету,
к отлову моему!

СОДЕРЖАНИЕ

В. Катаев. — Немного об авторе	3
--	---

Стрела в стене

«Слоняюсь под Новосибирском...»	13
Строки Роберту Лоуэллу	16
Сан-Франциско — Коломенское...	22
Общий пляж № 2	24
Морская песенка	28
Испытание болотохода	31
«Суздальская богоматерь...»	36
«Графоманы Москвы...»	37
Диалог Джерри, сан-францисского поэта	38
Уже подснежники	44
Ироническая элегия, родившаяся в весьма скорбные минуты, когда НЕ ПИШЕТСЯ	47
Вальс при свечах	50
Стрела в стене	52
Тоска	55

Лодка на берегу	56
Осеннее вступление	57

Снежное сожаление

Роща	67
Морозный ипподром в Зальцбурге	69
Бой петухов	73
Шутливый набросок	75
Нью-Йоркские значки	76
Июнь-68	80
«Нам, как аппендицит...»	82
Художник Филонов	86
Ялтинская криминалистическая лаборатория	89
«Все возвращается на круги свои...»	91
Лесалки	92
Улитки-домушницы	94
Шафер	96
«Напоили...»	98
Из дневника «София-67»	100
1. Бар «Рыбарска хижа»	100
2. Старая песня	102
Грипп «Гонконг-69»	104
Из Хемингуэя	109
«В воротничке я...»	114
Языки	116

«Лист летящий...»	121
Разрыв	122
Снег в октябре	123

Доктор Осень

1, 2	127
3	131
4	134
Эпилог	135

Портрет Плисецкой

«В ее имени...»	141
«Жила-была девочка...»	142
«Мне кажется...»	143
«Балет рифмуется с полетом...»	145
«Я познакомился...»	150

Изопы

Вступление	155
Мост	161
Пароходик	162
Хождение по водам	163

Бой петухов	164
«А луна канула...»	166

Эхо

1959

Гойя	169
М а с т е р а	
Первое посвящение	171
Второе посвящение	173
I	174
II	175
III	176
IV	177
V	178
VI	181
VII	182
Реквием	182
Репортаж с открытия ГЭС	186

1960

Осень в Сигулде	188
Антимиры	192

1961

Мотогонки по вертикальной стене	195
Прощание с Политехническим	197
Футбольное	201

1962

Лобная баллада 204

Париж без рифм 207

Из поэмы «Лонжюло» 213

Монолог Мэрлин Монро 215

1963

Охота на зайца 220

1964

Тишины! 225

Из «Озы» 227

1965

Плач по двум нерожденным поэмам 234

Замерли 239

1966

Баллада-яблоня 241

Больная баллада 245

Бьет женщина 248

1967

Забастовка стриптиза 250

1968

Рождественские пляжи 254

Оленья охота 257

*Вознесенский
Андрей Андреевич*

ТЕНЬ ЗВУКА. М.
«Молодая гвардия»,

1969.

264 с. Р 2

Редактор
Андрей Дементьев

Художник
Владимир Медведев

Худож. редактор
Нина Печникова

Техн. редактор
Гита Лещинская

Сдано в набор 5/V 1969 г.

Подписано к печати 13/XI 1969 г.

А 10945. Формат 60×60¹/₁₆.

Печ. л. 16,5 (10,89).

Уч.-изд. л. 6,3. Тираж 90 000 экз.—

бум. № 1. Цена 65 коп.

Тираж 10 000 экз.— бум. иллюст-
рационная, цена 2 р. 20 к.

Заказ 1719.

Издательство ЦК ВЛКСМ

«Молодая гвардия».

Москва, А-30, Суцевская, 21.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа
Государственного комитета Совета
Министров БССР по печати.
Минск, Красная, 23.

65 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ